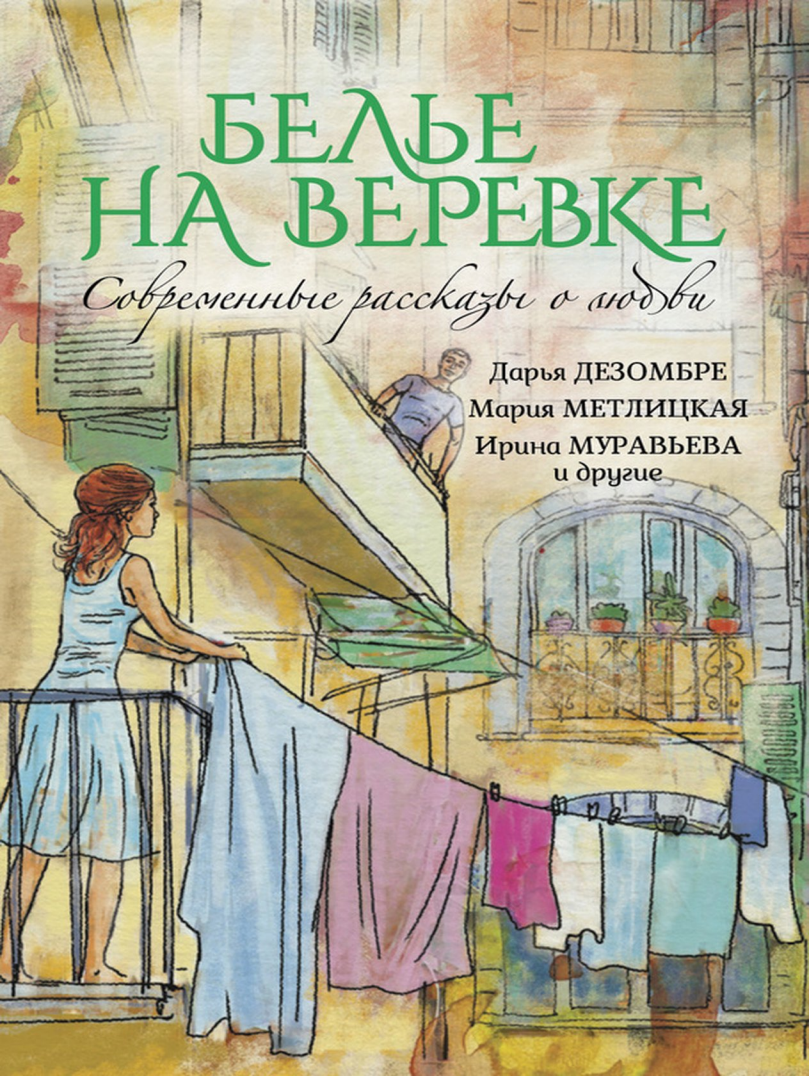
БЕЛЬЕ НА ВЕРЕВКЕ
Современные рассказы о любви
Дарья ДЕЗОМБРЕ
Мария МЕТЛИЦКАЯ
Ирина МУРАВЬЕВА
и другие

Белье на веревке. Современные рассказы о любви (сборник)

Дарья Дезомбре, Ольга Юрьевна Карпович, Ариадна Валентиновна Борисова, Ирина Лазаревна Муравьева, Елена Вячеславовна Нестерина, Лариса Райт, Мария Метлицкая, Наталья Осис, Татьяна Владимировна Корсакова

Аннотация
Мария Метлицкая, Ирина Муравьева, Татьяна Корсакова и др. Белье на веревке. Современные рассказы о любви
Ирина Муравьева. Зима разлуки нашей
Мария Метлицкая. Ассоциации, или Жизнь женщины
Ольга Карпович. Охота
Елена Нестерина. Акции небесного электричества
Наталья Осис. Белье на веревке
Мария Метлицкая. Добровольное изгнание из рая
Дарья Дезомбре. Лотерея

Лариса Райт. Коллекционер
Татьяна Корсакова. Бабочка
Ариадна Борисова. Змеев столб. (На правах рекламы, отрывок)
Глава 18. Горький мед
Глава 19. Настоящий друг… Ненастоящий муж

Аннотация

По народным поверьям, белье на веревке снится к появлению человека, к которому будешь питать романтические чувства. В жизни же чистое и благоухающее свежестью белье на веревке ассоциируется у нас с домом, уютом, с устроенным бытом. А герой одного из рассказов, Ваня, влюбившийся в соседку из дома напротив, пытался по белью на веревке… гадать! Вот между их окнами сушатся майки и футболки – голубые, синие, цвета морской волны… «Она любит море!» – догадывается Ваня. А в другой день рыжая соседка вывешивает сушиться трогательные кружевные ночные рубашки. «Неужели свидание?!» – продолжает гадать молодой человек и вот уже бежит скорее в магазин покупать продукты для романтического ужина… Оправдаются ли Ванины надежды, состоится ли свидание? Читайте новый сборник рассказов о любви, и все узнаете!

Мария Метлицкая, Ирина Муравьева, Татьяна Корсакова и др Белье на веревке. Современные рассказы о любви

© Метлицкая М., 2015
© Муравьева И., 2015
© Карпович О., 2015
© Нестерина Е., 2015
© Осис Н., 2015
© Дезомбре Д., 2015
© Ройтбурд Л., 2015
© Корсакова Т., 2015
© Лифшиц Г.М., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Ирина Муравьева
Зима разлуки нашей

В семь часов в Линнской синагоге начался вечер русского романса. За окном — набережная, синий кусок океана. Чайки на гладком песке, запах гниющих водорослей. Мальчик с густой гривой выводит ломающимся басом: «Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, мать уехала в Париж…»

Подожди, голубчик. Когда уехала?

* * *

Вчера они сидели в его пропахшем табаком кожаном кабинете, за окном которого бушевал, ломая сиреневые ветки, июньский дождь.

…Они сидели в пропахшем табаком кожаном кабинете, и дрожащее полное лицо его было белее бумаги на столе.

— Я прошу одного, — громко сказал он, — чтобы была сохранена видимость наших семейных отношений…

— Отпусти меня, — прошептала она, — отпусти меня на месяц. Николка…

— Николка! — закричал он. — Николка! Ни-

колка будет здесь с Зиной и Олей! Как только Бог смотрит на тебя оттуда?!

В Париже было тепло и солнечно. Покрывало на кровати пахло лавандовым мылом. Первый раз в жизни она проснулась рядом с человеком, который вот уже несколько месяцев был для нее всем на свете.

* * *

— Вот ты посмотри, Аня. Это она перед самым выпуском. Ух, коса-то какая! Красавица.

— Где она умерла?

— Как где? В Москве, у Коли на руках. Перед самой войной она уехала с этим. Не сбежала, нет. Коля сам сказал: «Уезжай. Уезжай, куда хочешь, и думай. Потом возвращайся, потому что у тебя ребенок, а ребенку нужна мать».

— С ума сошел! Кто же так поступает?

— Теперь — никто, а раньше поступали. Он был великий человек, Аня. Коля — был великий человек. Двое было великих: мой Костя и Лидин Коля. Ну про моего ты знаешь…

* * *

Она все еще была в Париже, хотя ее давно жда-

ли в двух городах: Москве и Тамбове. В Тамбове тем временем выпал снег, и по сухому первому снегу к угловому дому на Большой Дворянской подкатил краснощекий извозчик.

— Лиза! Беги смотреть! Асеев приехал! Адвокат Асеев! Тот, с которым мы летом у Головкиных в карты играли! Он у нас практику открыл! Лиза!

Подошла к окошку, вскинула плечи. В косе — черный бант. Коса — тонкая, так себе. Вот у Лиды — волосы! Господи, Лида-то в Париже. Вчера мама с папой опять о ней говорили, мама все время плачет. Папа ездил в Москву, к Николаю Васильевичу и маленькому Николке. Привез фотографию — Николка на белом пони. Глазки грустные. Сумасшедшая Лида.

Так это и есть Асеев? Расплачивается с извозчиком. Без шапки, голова от снега — как припудренная. Подхватил свой сак — и прыг на крыльцо! Что это он так распрыгался?

Назавтра в гимназии была рассеянна. Толстая Надя Субботина протянула ей бархатный альбомчик. Выпускной класс, стишки на память. Субботина летом замуж выходит. За кузена. В Синоде разрешение выпрашивали. Дура Надька. Няня говорит: «Выйдет и будет рожать, как кошка».

Нет, мы с Мусей и Лялей, как только закончим, сразу — в Москву. На французские курсы. Там Шаляпин, Северянин. Во МХАТе — «Три сестры». Лида в письмах мне все рассказывает. Никому и в голову не придет, что я из Тамбова. В Асееве, кстати, ничего особенного. Муся говорит, что кутила ужасный. К цыганкам ездит. Папа признался, что тоже ездил, когда молодым был. Ужас. Муся клялась, что у Асеева цыганка в любовницах. Ну и ну. «Живой труп», графа Толстого сочинение.

Открыла альбомчик. Вдоль и поперек исписан. Вот, пожалуйста.

Лишь сойдет к нам на землю вечерочек,
Буду ждать, не дрогнет ли звонок.
Приходи, ненаглядный дружочек,
Приходи посидеть на часок.

Перевернула страницу, чтобы не мараться о глупости, и написала крупно:

Душа моя во всем гнезду сродни,
В ней бьются птицы и поют они.
А улетит последняя и – вот:
Она, как дом с открытыми дверьми,
В которые осенний небосвод

Шлет первый снег, и рвется лист с земли.

Ах как прекрасно. Прекрасные стихи. Алеша написал и преподнес летом. Гостил в июле на даче. Сашин друг. Вечером преподнес, когда мама заставила гаммы играть. Вошел в гостиную, волосы на пробор, блестят. Муся уверяет, он их чем-то мажет, чтобы блестели. Может быть, и нет. Просто такие волосы.

Откашлялся:

— Я не прошу вашей руки, Лизавета Антоновна, потому что вы слишком молоды. Но разрешите мне надеяться. Я буду ждать.

Взял ее за локоть и вдруг поцеловал в щеку. У нее в глазах потемнело. Маме, конечно, все рассказала. Мама сначала засмеялась, потом заплакала. Но плачет она всегда об одном: Лида.

Асеев вышел из своего дома как раз тогда, когда она к своему — подошла. Улица была пуста. Редкий сухой снежок. Он взглянул на нее рассеянно. Улыбнулся и поклонился, надевая перчатки. Кому улыбнулся-то? Мне или двери? Постояла, сбросив ранец на землю, посмотрела вслед. Глупо. Взрослая барышня, скоро курсистка. Он припустился по улице быстро, почти бегом. Извозчика не взял. Снег налетел на его спину.

* * *

Лида вернулась в Москву в июле, перед самой войной. По темно-зеленой с большими золотыми буквами вывеске: «Доктор Н. В. Филицын. Нервные болезни» — бежали мутные дождевые потоки. Николай Васильевич открыл дверь, провожая сгорбившегося пациента.

Посторонился, пропуская ее в глубину прихожей. Она отразилась в зеркале — бледная как смерть, в затейливой парижской шляпке.

— Вернулась? — сказал он, и ей послышалась ненависть.

— Где Николка? — хрипло спросила она.

Он молчал и исподлобья, красными, бегающими глазами осматривал ее похудевшее лицо, серое дорожное платье на пуговицах, зонтик, блестевший от дождя.

— Николка где? — повторила она, замирая.

— Не беспокойся, — ответил он высоким звонким голосом. — Его забрала Оля. Завтра привезет. Должны же мы с тобой объясниться.

— Коля, — сказала она и опустилась на стул, — я не могу говорить…

— Вот и прекрасно, — он усмехнулся дрожащими губами, — вот и хорошо, потому что и я

не могу говорить. Да и незачем. Я предлагаю тебе жить здесь, дома, потому что все остальное — гадость и чушь. Ты не первая женщина, у которой завелся, — он с отвращением сморщил все лицо, — завелся адюльтер, и не последняя. Но ты — мать нашего ребенка. А наш ребенок, представляется мне, важнее адюльтеров. Так что я свой выбор сделал. Места в доме достаточно. Николка ничего не заметит. А когда ты решишь покинуть нас, — он быстро, вопросительно посмотрел на нее, она вздрогнула всем телом, — если ты решишь покинуть нас, мы вместе подумаем, какие принять меры.

— Как странно, Коля. — Она опустила голову, мокрая темно-золотая прядь упала на лоб из-под шляпки. — Как ты легко говоришь об этом…

— Легко? — переспросил он. — Ну, дорогая моя! Сколько раз я представлял себе, как задушу тебя, едва ты переступишь порог!

Она вскочила, словно ее ударило током.

— Сиди! — вскрикнул он и обеими руками нажал на ее плечи. — Сиди, ничего я тебе не сделаю! Нашла Алеко! Он для меня — все, — и кивнул головой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. — Николка для меня — все! Не позволю я, чтобы глупая баба сломала ему жизнь, слышишь

ты! Не позволю!

Он стоял над нею, дрожа всем телом, — огромный, седой, взъерошенный, — и вдруг она вспомнила, как он когда-то, так же дрожа всем телом, просил ее руки.

— Лучше я уеду, — прошептала она, — мы не сможем, мы не выдержим…

Он вдруг отошел к двери, прижался к ней спиной, засунул руки в карманы.

— Полно тебе, Лида, — произнес он почти спокойно, — иди к себе, отдохни. Ты неважно выглядишь. Завтра Оля привезет Николку.

* * *

…Низкое красное солнце ломким веером накрыло Большую Дворянскую. К дому напротив подкатила пролетка. Из нее козочкой выпрыгнула соседская девочка, которая вот уже три месяца за ним подсматривает. Следом, придерживая подол платья, сошла молодая женщина в синей шляпе и сине-сером полосатом платье. За женщиной — худенький мальчик в русых локонах. Все они на секунду остановились перед дверью, и девочка нетерпеливо дернула звонок. Женщина в полосатом платье схватилась за сердце. Дверь отворилась, мелькнули два лица — Александры

Ильиничны и Антона Сергеевича, соседей, — и дверь торопливо захлопнулась. Он догадался, что приехала старшая дочь Лида, недавно, как говорили, вернувшаяся из Парижа. Движение ее руки, схватившейся за сердце, поразило его.

«Кто знает, — вяло подумал он, — может быть, что-то еще осталось в этой жизни… Боль, привязанность… Наверное, осталось».

Он открыл буфет и налил себе стакан вина. Сопьюсь в этой дыре от скуки. Нет, не сопьюсь. Что делать вечером? Поехать к Тане? Его обожгло и тут же передернуло. Таня… Страсть, да. Тяжелая страсть к женскому телу, в которое погружаешься, все забыв. Потом наступает отрезвление. Она любит деньги, Танюша. Деньги и подарки. С ума сходит от побрякушек, которые он ей дарит. Довольно гадко. Но шея, спина, лопатки с шелковистыми родинками, вишневые соски, твердеющие под его ладонью… Ладно. Поживем — увидим. Сказать сестрам: женюсь-ка я, милые, на цыганке?

Он представил себе выражение лица старшей, Варвары, недавно похоронившей мужа и оставшейся с четырьмя детьми. Нельзя делать такие вещи. Детей надо поднимать, все на нем. У Вари нет денег. Он опять посмотрел на соседский дом.

Там уже зажгли лампу, двигались тени. Плачут, наверное, ахают, расспрашивают. Как она схватилась за сердце, эта, в полосатом платье…

Горничная повесила платье в шкаф, расстелила постель. На столе стояли розы, только что срезанные. Конечно, к ее приезду. Как хорошо дома. Господи. И какой ад там, в Москве. Николай Васильевич ведет себя с ней вежливо и сухо, как с посторонней.

* * *

— Лида вам все рассказывала, тетя Лиза, делилась?

— Что могла, то рассказывала. У нас разница была все же довольно большая: девять лет. Я ей казалась ребенком. По-настоящему мы с ней в первый раз поговорили тогда, после Парижа, когда она приехала в Тамбов. Убежала из Москвы от Николая Васильевича на две недели. А ты знаешь? Мне вот что все время приходит в голову: поделом нам всем! Молодцы большевики! Ей-богу, уважаю!

— Что это вы вдруг, тетя Лиза?

— А то, — и она засмеялась нервным старым ртом. — А то. Какая была жизнь! Страсти, любовь!

Слезы, букеты. А они пришли и говорят: «Идите вы с вашими страстями к такой-то матери! И букеты с собой прихватите!» Мы и пошли. Буржуи недобитые.

* * *

— Лида!

Не отвечает. Сейчас разрыдается. Любят они рыдать: что Лида, что мама.

— Лидуша! Ну что ты как неживая? Поговори со мной!

— О чем с тобой поговорить, дурочка?

— Ну, обо всем. — Быстро намотала на руку легкую прядь, смутилась. — Как ты жила там, в Париже, с этим?

— С этим? — повторила Лида. — Что ты говоришь, Лизка! Он мне дороже всего.

— Почему?

— Как почему? Люблю его, вот почему!

— А Николая Васильевича?

Лида отрицательно покачала головой.

— Как? — ахнула, прижала ладонь ко рту. — Как же ты венчалась?

— «Да как же ты венчалась, няня?» — слабо улыбнулась Лида. — Так и венчалась. Так, видно, Бог велел.

— Мой Коля, — засмеявшись сквозь готовые слезы, подхватила Лиза, — «он старше был меня, мой свет, а было мне…». Сколько тебе было?

— Восемнадцать, — сказала Лида, — и я ничего, ничего не понимала. Как ты сейчас.

— Я? — С возмущением: — Ну уж нет! Я давным-давно все знаю. Только скажи мне: почему так бывает, что этого человека любишь, а того нет? Ведь все одинаковое — руки, ноги, глаза. А…

— Никто этого не знает, — перебила ее Лида, — никто тебе на этот вопрос ничего не скажет! Я, когда только встретила его, ну, его, понимаешь? — И покраснела до слез, посмотрела умоляющими глазами. — Как только встретила, сразу поняла, что у меня никакой своей воли не осталось. Что он захочет, то я и сделаю.

— Господи помилуй! Да ведь ты же замужем, и потом Николка…

— И Николка, и замужем, и мама… А как он до меня дотронулся в самый первый раз, так я почувствовала…

— Что ты почувствовала? Как он до тебя дотронулся?

Лида закрыла руками пылающее лицо.

— Хватит, Лизетка, я и так тебе много наговорила. Давай спать. Ни одну ночь я не спала толком.

Знаешь, с какого времени? С двадцать восьмого января!

Она хотела спросить, что это за день такой, но прикусила язык. Красавица она все-таки, Лидочка наша, красавица. В Тамбове таких днем с огнем не сыщешь, да и в Москве, наверное, не очень…

Поцеловались. Шмыгнула к себе, потушила свет, натянула одеяло на голову. «А как он до меня дотронулся…» Как же он дотронулся все-таки?

* * *

Первая осень войны была дождливой, холодной. В обиходе появились забытые слова: медикаменты, транспорт, мобилизация, дезертир, наступление. Госпитали уже были переполнены. Вдоль железных дорог, увозивших на смерть крепких кривоногих мужиков, запахло содранными с бабьих голов пропотевшими платками, слезами. Поговаривали, что французские курсы не сегодня завтра закроют, хотя внешне Москва все еще жила своей прежней, бестолково-пестрой жизнью. Саша, брат (на год старше Лиды и на десять лет — Лизы!), был по состоянию здоровья освобожден от армии и ехал в Тамбов к родителям. По дороге из Петербурга он завернул в Москву повидаться с сестрами. С ним приехал

Алеша, поступивший в Тверское артиллерийское училище.

Поезд пришел с опозданием, и она успела продрогнуть в тоненьких башмачках, надетых совсем не по погоде, из одного кокетства. Они спрыгнули с подножки и, махая фуражками, бросились к ней. Саша еще больше побледнел и похудел. У Алеши лицо сияло так, что хотелось зажмуриться. Сморщившись от паровозного дыма, она подхватила край клетчатой юбки тем же самым движением, которым это делала Лида, и поплыла к ним навстречу.

— Лизка! — Саша притиснул ее к себе и закашлялся. — Большая какая! Charmant!

Она отступила на шаг, растопырила юбку, покружилась:

— Выросла?

— Да что выросла! Расцвела! Ты погляди, Алексис!

Алеша улыбнулся смущенно:

— А я и так гляжу, не могу оторваться.

Она протянула ему худую замерзшую руку.

— Как я рада, Алеша, что вы тоже приехали. Я ж боялась, мы больше не встретимся.

* * *

— В каком году Лида умерла?

— Лида? Да я же тебе сказала: в марте восемнадцатого! У Коли на руках, в Москве.

— Тетя Лиза, подождите, я запуталась в датах: вы что, потом уехали из Москвы в Тамбов?

— Я уехала в шестнадцатом. Дома все болели, мама просила меня приехать. Я поехала ненадолго, а задержалась на целый год. Я была в Тамбове, когда нас выгнали из дому и… Ну, когда все это произошло. Сашу забрали, папу разбил паралич. А потом до мамы докатилось, что Лида больна, и она послала меня в Москву, чтобы я была там с Лидой, не отходила от нее ни на шаг. Я вернулась в Москву. В конце января.

— Так вы же не рассказываете! Скачете, как белка, с одного на другое!

— Господь с тобой, Аня, ты слушать не умеешь!

* * *

Николай Васильевич Филицын три вечера в неделю дежурил в госпитале по случаю наплыва раненых. Под утро он пешком возвращался домой на Арбат. Лида, вероятно, спала. Он тихо

шел в детскую, наклонялся над ровно и глубоко дышащим Николкой, крестил его и поправлял сбившееся одеяло. Потом выпрямлялся и долго стоял над кроваткой, глядя на спящего усталыми красными глазами. Постепенно лицо его принимало другое выражение: привычной и нежной тревоги, которое чаще встречается у старых нянек и бабушек, чем у отцов. С этим выражением на лице Николай Васильевич шел к себе в кабинет и укладывался спать на большом кожаном диване, где ему с вечера готовили постель.

Пару недель назад он заметил, что по утрам у Лиды отекают ноги, а вечером на лице появляется нехороший лихорадочный румянец.

— Мне что? — бормотал Николай Васильевич, ворочаясь и жестикулируя в темноте. — Я ей — кто? Муж? Нет уж, дудки! Какой я муж?

Он рывком садился на диване и обеими руками обхватывал седую голову.

— Развратная женщина, низкая, — говорил он шепотом, — терплю, потому что сын.

И тут же чувствовал, что нечем дышать.

— Лжешь! — Он скрипел зубами. — Лжешь, подлец! Не потому терпишь, что сына жалко! Себя, себя жалко! Ведь вернулась. Где этот, ее? В городе его нет, справлялся! В Самару, говорят,

укатил! Пишет он ей? Ведь я его убить должен! Вызвать и убить. А я терплю. Почему терплю? Современный я очень, новейших прогрессивных взглядов! Покаталась и вернулась. А как жить мне с ней после этого? Разводиться надо! А куда она пойдет, разведенная? А для Николки какой позор! Мать — разведенка!

Ужас в том, что она во всем призналась. Правдивость ее была немыслимой и ненужной. Николай Васильевич в глубине души знал, что, если бы не эта ее правдивость, он предпочел бы ничего не заметить. Закрылся бы обеими руками от страшного. Ольга, сестра, говорит: «Ты ее никогда не разлюбишь, не стоит и стараться». — «Верно. Стараться не стоит. Не разлюблю. Но как жить-то с ней в одном доме? Ведь я с ума схожу, а она меня терпит. Я ей противен». Он с отвращением посмотрел на свою голую ногу, высунутую из-под одеяла. «Зачем она вышла за меня, красавица? Кошачья порода». Чуть не разрыдался, представив ее в постели с тем, с другим. «И ведь совсем недавно! Двух месяцев не прошло! Ей-богу, спасибо войне — работы невпроворот, надорвусь и сдохну! А с ними что будет? С мальчиком? При такой матери? Опять она кашляет». Он слышал, как в спальне глухо кашляет Лида. «Она и раньше

покашливала, легко простужалась. У них в семье у всех плохие легкие, у Александра чахотка, вряд ли долго протянет. Жаль парня. Дурной, но добрый, мухи не обидит. Спросить, не нужно ли ей чего? О жизнь проклятая!»

* * *

Вернувшись в четверг вечером с дежурства, Николай Васильевич увидел, что в столовой горит свет, а за столом сидят Лида, ее младшая сестра Лиза, брат Александр и еще какой-то неизвестный, ярко-смуглый молодой человек. Быстро и тревожно осмотрев Лиду по незаметной для него самого привычке, Николай Васильевич расцеловался с Лизой и Александром, познакомился с неизвестным. Оказалось, Сашин приятель, проездом в Тверь. У Лиды лихорадочно горели щеки. Светло-каштановая, с золотом, коса, едва заплетенная и перевязанная в конце красной смятой ленточкой, лежала на левом плече.

— О чем спорите? — спросил Николай Васильевич и придвинул к себе чашку.

— Мы говорим о войне, — торопливо ответил Александр и облизнул сухие губы, — я лично придерживаюсь толстовских взглядов. Война есть убийство, противное человеческой природе.

Я, если хотите, готов оправдать дуэль, потому что иногда нельзя решить вопрос иначе…

Николай Васильевич хлебнул слишком горячего чаю и закашлялся.

— Нельзя, и все! — не замечая, продолжал шурин. — Но не война, нет! Ибо война снимает момент личной ответственности…

— Я не согласен, — перебил его Алеша, — как же снимает? Ведь если я иду в атаку, скажем, и веду за собой других, кто же снимает с меня ответственность? Напротив…

— Я и с вами поспорю, Алеша, и с тобой, Саша, — вдруг, неожиданно для Николая Васильевича, сказала Лида и резким движением отбросила на спину лохматую косу, — потому что, разумеется, с какой стати идти и убивать незнакомых тебе людей, которые тебе лично ничего не сделали дурного, верно? Но, с другой стороны… Саша, ты послушай! Если сложилось так, что — пусть против воли, — но ты уже там, в пекле, и должен вести себя как благородный человек, то ты ведь не станешь говорить себе, что все это против твой воли и поэтому можно стать кем угодно? Ты перед самим собой не позволишь себе такой низости!

— Романтизм чистейшей воды, — раздраженно оборвал ее Николай Васильевич, — романтизм

и незнание жизни. Бывают, моя дорогая, такие обстоятельства, что человек поступает вовсе не так, как он хотел бы поступить, но нельзя с него строго взыскивать, потому что жизнь — штука страшная, не всегда все от человека зависит.

— Я, — глухо сказала Лида и сильно покраснела, — хотела бы сама проверить, что от меня зависит, а не по чужим словам… Сейчас такое время, что в стороне не удержишься, нужно что-то делать…

Николай Васильевич резко обернулся к ней всем телом.

— Что ты собираешься делать?

Она покраснела еще больше:

— Прости, я не успела тебе сказать. Я поступила на медицинские курсы. Закончу и буду работать в госпитале.

— Так… — промычал Николай Васильевич, — довольно опрометчивый поступок при твоем здоровье…

Чувствуя, что разговор принимает слишком семейный характер, Алеша встал.

— Извините, мы все вам перевернули своим вторжением. Спокойной ночи.

— Куда же вы пойдете? — смутившись и взглядом обходя Николая Васильевича, спросила

Лида. — Останьтесь. Саша ляжет в столовой, вы, Алеша, в маленькой гостиной, а Лиза может или со мной, или в кабинете Николая Васильевича…

— Лучше в кабинете, — твердо сказал Николай Васильевич, — там отличный диван, ты прекрасно выспишься, Лизетта.

Снег пошел за окном, словно то, что происходило в этом доме, должно было быть спрятано от посторонних глаз, сокрыто как можно скорее, обращено в семейные догадки, в восторженную уверенность, что в жизни бывает только так, а не иначе, то есть по добру и милосердию, и нужно только быстрее перебинтовать рану, перебинтовать потуже, чтобы не просачивалось, не гноилось.

* * *

— Меня положили, в конце концов, в детскую, к Николке, который ужасно раскрывался по ночам, а в доме было холодно. И я всю ночь к нему вставала. Как я была влюблена тогда! Алеша спал в гостиной. Хотя, наверное, не спал… Да что говорить! В наше время так себя не вели, как теперь. В публичные дома ходили, к проституткам, с горничными жили, но к девушке своего круга — ни-ни! Другие люди были, потому и вымерли.

Мамонты.

— Ну уж вы скажете, тетя Лиза!

— Я и скажу. Ты, Аня, старая уже, а как была святой простотой, так и осталась. Ты в нашей семье последняя такая. Божий одуванчик, дай тебе Бог здоровья…

* * *

Она лежала с закрытыми глазами и не шевельнулась, когда Николай Васильевич со свечой в руке осторожно вошел в спальню и лег на самый край постели.

— Спишь, Лида? — прошептал он.

— Нет.

— Мне уйти?

Она открыла глаза.

— Не надо, Коля, мне страшно.

Николай Васильевич громко, по-детски сглотнул слюну.

— Я все думаю, думаю, — прошептал он, — я с ума схожу от мыслей. Лида! Но ведь если ты полюбила другого человека, разве я смею тебя осуждать? Разве жизнь твоя, чувства твои, сердце, — он сморщился, словно заставлял себя произносить слова, ему несвойственные, — разве все это мне принадлежит? Что ты молчишь?

Она хотела что-то сказать и вдруг задохнулась, раскашлялась. Николай Васильевич посмотрел на нее со страхом.

— Голубочка моя, — прошептал он, — как же я боюсь за тебя…

Большой горячей рукой он пощупал ее лоб. Лоб был мокрым от пота. Тогда он с силой притянул ее к себе, накрыл одеялом.

— Так, так, — лихорадочно бормотал Николай Васильевич, целуя ее затылок, — я знал, что ты — моя мука крестная, мой ангел, жена моя. Я знал, когда вел тебя к венцу, знал, что никакого покоя нам не будет, но ты мне скажи сейчас, ответь мне: гадок я тебе, Лида?

Оба они дрожали, сыпал снег за окном.

— Коля, — кашляя, бормотала она, — страшно, Коля! Господи, я ведь мучаю тебя! Тебе-то за что?

— А поделом, поделом, — Николай Васильевич еще крепче прижал ее к себе, — поделом идиоту. Женился, не спросил, не проверил. Что ты могла полюбить во мне, какая тебе радость от меня?

— Коля! — вскрикнула она и вырвалась из его объятий, всплеснула руками. — Да разве я об этом?

* * *

Снег, снег, война, смерть. Кудрявый Николка в детской кроватке, в углу деревянная лошадка. Лиза не спит. Алеша ворочается. Александр в чахотке. Лида кашляет, Николай Васильевич кутает ее в одеяло.

Снег, смерть. Чайки на Линнском песке, запах гниющих водорослей.

* * *

Александр уехал в Тамбов к родителям. Алеша был в Твери. Лида помогала в госпитале, французские курсы грозились вот-вот закрыть, но все не закрывали. Многого, происходящего с сестрой, Лиза не понимала. Лида не объясняла ей, почему у них установился мир и лад с Николаем Васильевичем, почему она ходит, словно в воду опущенная, изнуряет себя работой, но на каждое ласковое его слово отвечает торопливой улыбкой и, судя по всему, страшно боится Николая Васильевича обидеть. Муся, с которой Лиза делила у хозяйки комнату на Пречистенке, спросила загадочно, где теперь ночует Николай Васильевич: в спальне или в своем кабинете? Она вспыхнула,

ничего не ответила, хотя отлично знала, что вот уже месяц Николай Васильевич ночует в спальне. Мусин намек показался ей отвратительным.

Больше всего, однако, хотелось увидеть Алешу.

Он приехал в Москву перед самым отъездом на фронт. Снег в этот день неожиданно растаял, в воздухе пахло весной. Они медленно шли по Никитскому бульвару. Алеша хмурился.

«Нравлюсь я ему или нет? Спросить? Подумает, что я сумасшедшая, позор какой!»

И тут же спросила:

— Алеша, я вам нравлюсь?

Он убито посмотрел на нее:

— Я в вас давно влюблен, Лиза, я вас очень люблю.

Не сговариваясь, опустились на лавочку, мокрую и черную от растаявшего снега. Он взял ее ледяную руку без перчатки и крепко прижал ко рту.

— Пожалуйста, Алеша, поцелуйте меня, — дрожащими губами прошептала она, — я вас очень прошу.

И, не дожидаясь ответа, оторвала свою ладонь от его рта, изо всей силы обхватила обеими руками его лицо и крепко поцеловала в подбородок и щеку.

— Лиза, — глухо пробормотал он, — я завтра еду, бог знает, вернусь ли…

— Я вас ужасно буду ждать, ужасно, Алеша, Алешенька! Господи, что же вы молчали!

* * *

— Ничего, конечно, не было между нами. Вечером пошли на Пречистенку, сидели на диване без огня, ели яблоки, целовались. Он мне сделал предложение. Так что, пока его не убили полгода спустя, я была невестой…

— Вы его помните, тетя Лиза?

— Очень даже помню. Вот так вижу, как тебя сейчас. Молодой, черноглазый. Голова такая породистая, закинутая немного. Гордый, хороший мальчик. Главное — очень уж молодой, сейчас бы мне во внуки сгодился. Сколько их погибло… Но ведь так, может, и лучше? Кто знает, через что ему пришлось бы пройти, если бы выжил? Ей-богу, как подумаешь — что лучше?

* * *

Алеша был засыпан землею в воронке от взрыва во время Брусиловского прорыва, когда русская армия перешла в наступление. Николай Василье-

вич умер в двадцать шестом году от инфаркта, Николка был в лагере, вернулся инвалидом в начале пятидесятых, пил, попал под электричку.

* * *

— Сестрица, помилосердуй, отрави меня чем, сестрица! Куда мне с такой культяпой? Не побоюсь греха — руки на себя наложу, помилосердуй мне, сестрица!

Выскочила на крыльцо. Метель. Конца-краю нет. Как они хрипят, мычат, стонут! Что они терпят, господи!

— Пить, сестрица, пить, за-ради бога.

— Несу, несу, не плачь, терпи, миленький.

— Красивая ты, сестрица, у меня в деревне сестренка есть, вылитая ты, маленько ростом не вышла.

— Помогите там, Лидуша! Сидоров кончается…

— Иду, иду.

— Оспо-ди-и, ма-мынь-ка-а…

«Хочу умереть. Лечь здесь, на крыльце, голову в снег, закрыть глаза. Где он сейчас? Последнее письмо было два месяца назад». «Прости меня за муку. Не верю, что ты смогла вернуться к нему по-настоящему и предать нашу жизнь. Жду встречи с тобой еще и на этом свете, целую твое

драгоценное тело, которое мне снится…»

Все, конец. Главное — не помнить. Голову в снег, глаза закрыть. Не помню!

— Сестрица, ты где была? Рука-то, как ледыш. Не дело на морозе стоять, застынешь, сестрица…

— Лиза, открой!

— Сейчас, Коля!

Николай Васильевич набирал в шприц маслянистую жидкость. Огненно-красный Николка хрипел, разметавшись на родительской постели, глаза его были полны ужаса. Лида стояла перед постелью на коленях, целовала его горячие пальчики, гладила плечики, липкие от пота локоны… У Николки был круп, вторую ночь они втроем не спали. Вчера Николай Васильевич несколько часов подряд носил его на руках. Она молилась на эти большие, сильные руки, набирающие в шприц маслянистую жидкость. Господи, прости и не отнимай, прости и не отнимай…

Лиза выскочила в коридор, отперла не спрашивая. Три черные тени стояли на пороге: большая посередине и две маленькие по бокам. Закутанные в платки, занесенные снегом. Большая упала на землю и запричитала:

— Хозяюшка, милая, помоги! Погорели мы как

есть, к родне пробираемся, мужик на войне, помоги, хозяюшка!

— Да войдите, в дом войдите, я сейчас!

— Куда нам входить, родненькая, за дорогу-то все завшивели, десять ден в дороге-то!

— Лиза, иди к Лиде! — Николай Васильевич, топая, сбежал с лестницы.

— Коля, ты погляди, тут…

— Иди к ребенку, Лиза, я все сделаю!

Он запихивал в костлявые руки, в пустой мешок вареное мясо, деньги, хлеб, меховую шапку, а она все не вставала с колен, все захлебывалась:

— Спаси тебя Бог, кормилец! Детей моих пожалел! Век за тебя молиться буду, словечко за тебя Господу скажу!

— Не за меня, не за меня, мать, — быстро прошептал Николай Васильевич и испуганно оглянулся, — не за меня, помолись, мать, а за рабу божию Лидию и за раба божия Николая, сына…

* * *

— Да он ее не то что балует, он на нее пылинке не дает упасть. Ребенок без матери и такой отец сумасшедший! Что из нее выйдет? Я и сама на нее дышать боюсь, но ребенок есть ребенок, нельзя же так, а он с ума сходит! Горло першит — в школу

не пускаем, спит до двенадцати. Маленькая была — он инфекций боялся как ненормальный! Ну, корь, каникулы. Что делать? Все дети на елках, наша дома сидит. А вдруг подхватит? Конечно, при матери такого бы не было, но я ему не возражала, ни-ни! Пикнуть боялась, пусть уж он сам — как хочет, так и воспитывает — отец! А тут ангина, ей только-только девять исполнилось, и то ли осложнение маленькое, то ли просто не успела поправиться, но в моче — белок! Все. Он на стенку лезет: у ребенка больные почки! Нашли светило, профессор, жил на Арбате, его вся Москва знала. Пошли к нему на прием. Тот пощупал и говорит: «Точно не скажу, но похоже на онкологию. Нужно обследовать!» — Затянулась «Беломором», махнула маленькой смуглой рукой в обручальном кольце, вросшем в мякоть безымянного пальца. — И начался у нас ад! До сих пор, Аня, ты не поверишь, вспомнить страшно!

— Это я как раз, тетя Лиза, представляю, что у вас творится, когда она болеет.

— Скажешь тоже: «болеет»! Болезнь болезни рознь. Я так про себя решила, что газ открою — и на тот свет. Если подтвердится. Профессор этот, арбатский, кстати, сам окочурился через год. Я ему этого диагноза никогда не забуду, про-

сти, Господи, меня, грешную! Положили ее на обследование на пять дней. Все по блату. Мой этих врачей-сволочей буквально вылизывал, на машине из дому, на машине — домой, пятьдесят рублей в конверте. В больницу нас к ребенку не пускают: карантин. У них всю жизнь карантин. Маленькая девочка, в палате восемь человек, есть тяжелые, мы стоим на улице, снег, холод, смотрим на шестой этаж. А она на нас. Лбом в стекло, вся в слезах. Да ужас, говорю тебе, Анька, тихий ужас! Приходим вечером домой. Я — с обедом. «Ешь, — говорю, — ешь немедленно!» В рот ничего не брал. Бутылку один выпивал за вечер. Это он-то, непьющий! Телефона боялись. Я его успокаивала: «Ничего с ней нет, успокойся!» Сама чуть жива. И вот вечером, поздно уже, слышим: скребется кто-то. Я открыла. Стоит мужик какой-то заросший, в ватнике, в валенках мокрых, без калош, и с ним девочка — маленькая, вроде нашей, лет девять-десять. Погорельцы.

— Помогите, погорели, к родне идем, — затрясся весь. И девочка плачет.

Мой выскочил из комнаты, кудри дыбом:

— Проходи, проходите!

Они прошли в комнату, жмутся, наследить боятся. Девочка обмотана тряпьем каким-то,

тощенький ребенок, замученный.

— Жены, — говорит, — у меня нету, хозяин, дочка вот, сирота. — И трясется.

Что тут с моим началось! Он — я тебе, Аня, не преувеличивая говорю — все шкафы вывернул! Отрез габардиновый отдал, дорогой отрез, я ему пальто хотела шить к весне, — все отдал! Кофты, шаль, платок теплый, потом детские вещи, хорошие, для этой девочки, и свой свитер, и ботинки, — просто как с ума сошел! Накормили их. С собой еды навалил, денег дал. Господи… — Затянулась «Беломором», вытерла глаза. — Стали они собираться, и мужик этот, в ватнике, — я такого в жизни не слышала! — буквально залаял. Зарыдал, плачем даже не назовешь.

— Поклонись, — говорит девчонке своей, — в ноги им поклонись. Как звать-то вас? Молиться за вас буду.

Я ему говорю: «За внучку мою помолись, она у нас болеет». Они ушли, стала я в шкаф обратно барахло собирать, и меня — как током! Все, как тогда, у Лидки моей. У Николая Васильевича. Только что люди другие.

— Так Алешу убили?

— Алешу убили, красавца милого. Курсы закрыли, вернулась в Тамбов. Подожди, я с тобой

все даты перепутала! В каком году я в Тамбове-то была? Конец шестнадцатого и весь семнадцатый: и февральскую, и эту. В Москву вернулась в восемнадцатом, в разгар большевиков. Вот тут началось!

— Тетя Лиза, расскажите мне — помните, вы когда-то вскользь упомянули? — как вы Сашу из НКВД вытаскивали.

— Из какого НКВД? Из ЧК.

Гасит окурок в крышке от консервной банки. Бабушка — и курит! Мне уже четырнадцать, но я все еще этого стесняюсь. У моих одноклассниц тоже есть бабушки, но они не курят, не читают французские книжки, не заливаются смехом по телефону, не изображают соседей в лицах. Я делаю уроки в смежной комнате под шелковым оранжевым абажуром, а она сидит с Аней (дальняя родственница, похожа на сову!) и рассказывает. Голос понижает, чтобы я не подслушивала.

Неужели и тогда, под оранжевым абажуром, когда она, живая, смуглая, с маленькими руками, с волосами, сильно тронутыми сединой, была рядом, в соседней комнате, и сейчас — через двадцать шесть лет — в Линнской синагоге, где за окном — синий океан, но ее нет, нигде нет, —

неужели и тогда была я и сейчас — я?

Вчера мне приснилось, будто она умерла. Опять умерла. Наш дом на Плющихе, давно снесенный с лица земли, снова занял полагающееся ему на земле место. Я вхожу в комнату, где в углу стоит пустой диван с каким-то тряпьем. Она должна быть на этом диване. Ее нет. Говорят, уже унесли. Как же так, унесли? А я где была? Появляется соседка тетя Катя (тоже давно умерла!). Молодая, косы венком, на меня не смотрит.

— Тетя Катя! Как она умирала? Бабулечка моя? Мучилась? Что же вы меня не позвали?

* * *

Из двери знакомого арбатского особняка вышел косолапый, бритый, в обтрепанной шинели.

— Куда, гражданочка? — прорычал он, загораживая ей дорогу растопыренными руками.

— Здесь моя сестра живет, Лидия Антоновна, Николай Васильевич — ее муж…

— Ну, допустим, живут, — он сплюнул табачную слюну в осевший сугроб, — живут, покуда мы их терпим. А ты-то куда?

— Пустите!

— Но-но! — вдруг уже с непритворной злостью сказал он. — Покрикивать нынче не принято!

Накричались на нашего брата!

— Пустите, — прошептала она и сверкнула глазами, — я же к сестре!

— Ах к сестре, — повеселел он, — к сестре пущу, повезло тебе, девка, я сегодня добрый! Под одной, стало быть, крышей будем ночку коротать?

— Пропустите ее, Савелий! Прочь, я вам говорю!

Николай Васильевич — похудевший, с измученными, просиявшими при виде ее глазами, выбежал из дверей, протягивая к ней руки.

— Лизетка, душа моя!

На Николае Васильевиче, поверх бесформенной мятой рубахи, был накинут почти до прозрачности протертый шотландский плед, лицо небритое, седой, волосы поредели.

— Идем в дом скорее, а вы, Савелий, — прочь, прочь, и чтоб духу вашего!

— Ну, лекарь! — скрипнул зубами Савелий, и правая половина его лица задергалась, как у припадочного. — Мы с тобой потом поговорим!

— Поговорим, поговорим, — отмахнулся Николай Васильевич, обнимая Лизу одной рукой, а другой подхватив ее жиденький чемоданчик.

В темной прихожей крепко прижал ее к себе.

— Как же ты добралась, голубка?

— Ой, Коля, не спрашивай, Лида — что?

У Николая Васильевича задрожал подбородок.

— Воспаление, крупозное двустороннее, мы сняли, теперь в правом легком только неважно, а левое — чисто. Но сердце слабеет, Лизка, сердце! Отекает вся. Ноги, руки.

— Колечка?!

— Ни-ни-ни! Даже и в мыслях не допускаю! Подниму ее через месяц, вот увидишь! Ты только к ней не пойдешь прямо с дороги, голубка, нельзя. Я тебе, Лизетка, сперва баню устрою. Знатнющую баню! Боюсь за нее, тиф.

— Николка дома?

— Николка у теток. Зина научилась хлеб печь, Ольга шьет. Много сейчас не нашьешь, но все-таки… Мебелью топим, вещи меняем на муку. Увидишь.

— А Савелий этот — кто?

— Сволочь, дерьмо, — спокойно сказал Николай Васильевич, — большевик. Солдат пролетарской революции. Выселить не могу, уплотнили. Словечко, а? Герой войны, контужен был, комиссовали. Кокаинист. Ордер мне, подлец, предъявил. Жду, пока сопьется и в сугробе замерзнет. Задушить не могу. А жаль, ей-богу…

Лида лежала на широком кожаном диване,

перенесенном в спальню из кабинета Николая Васильевича. До подбородка накрыта вишневым шелковым одеялом, волосы заплетены в косу, на щеках яркий румянец.

— Лидочка!

Она обнимала сестру, с ужасом чувствуя хрупкость ее худого, воспаленного тела.

— Мама как, папа, няня, Саша? — хрипло спрашивала Лида.

— Живы, все живы, не волнуйся. Все расскажу. Про подвал ты знаешь, да? Плесени пока нет, щели мы с няней заткнули. Папа лежит, мама на ногах. Няня тоже.

— Господи! — Лида закрыла лицо пушистой косой, из-под косы хлынули слезы. — Сашу когда забрали?

— Да ведь выпустили, Лидочка, выпустили! Вот как это было, слушай, и ты, Коля, слушай, я ведь вам этого не писала. Стучат к нам в подвал ночью, папа только-только засыпать начал. Входят двое в кожаных куртках, с «наганами», и с ними еще какой-то в обыкновенном пиджаке. «Встать, — кричат, — всем!» Я им говорю, что папа встать не может, он после удара. Ладно. Они за пять минут нам все перевернули. Потом говорят Саше: «Одевайтесь, пойдете с нами». Я смотрю на

маму, она к стене прислонилась, белая-белая. Ой, Господи! Саша говорит: «Я ничего не сделал, за что?» Один из этих, кожаных, на него замахнулся, но не ударил и — как гаркнет: «Вопросов не задавать!» Увели. Я думаю, пронюхали, что Саша был в кадетах. Ну у нас — тихий ужас, маме плохо с сердцем, у папы левая рука не работает совсем, лежит плачет. Няня мне говорит: «Искать людей надо, Сашеньку вызволять, а то, сама знаешь, чего бывает! Ходы к ним нужно искать». Я стала думать. Всю ночь думала, просто голову сломала! И придумала вот что: к нам незадолго до Сашиного ареста приходил один, тоже с «наганом». Глазки такие хитренькие, сам на мышку похож. Мы с папой только дома были, няня с мамой ходили вещи на продукты выменивать, а Сашу — не помню, где носило. Ну, приходит этот, мышонок, снял фуражку, сел к столу и говорит мне: «Я, барышня милая, работник ЧК, слышали про такое учреждение?» А глазки так и бегают! «Да вы не пужайтесь, — говорит, — у меня у самого дочки растут, чуток помельче твоего будут». Молчу. Вдруг он за «наган» схватился и кричит: «Чего расселась, корова! Тащи мне сюда свои цацки!» Я не поняла. «Фу ты, — говорит, — бестолочь астраханская! Кольца свои тащи, сережки!» Я полезла

к маме в сундучок — помнишь, такой маленький, кованый, мы еще с ним играли? — и достала тряпочку (у мамы все в тряпочке было!), отдала ему. Высыпал все на стол, накрыл фуражкой и говорит мне: «Хотите, барышня, в своей постельке умереть али в другом каком месте?» У меня сердце остановилось. Правда, Лидочка, остановилось! А он подмигивает. «Вижу, — говорит, — что в постельке, куколка ты сахарная. Тогда давай делиться». И, Лидочка, ты не поверишь! Все, что в тряпочке было, все поделил!

— Ну да? — удивился Николай Васильевич. — Какое благородство! Фридрих Шиллер, драма «Разбойники»!

— А вот и не Шиллер, — воскликнула она, — Коля, ты не поверишь! Он на столе все это разложил и говорит: «Я ведь, граждане, не вор, а борец за пролетарскую справедливость. Ты поносила, теперь пущай мои девки поносят. Все по справедливости, как у Господа Бога».

— Да ведь они же неверующие! — Лида закашлялась.

— Ну что вы меня мучаете, — взмолилась Лиза, — я тебе слово в слово рассказываю. И делит: «Кольцо — тебе, кольцо — мене, цепка — тебе, цепка — мене, серьга — тебе, серьга — мене».

Все! Встал. «Желаю, — говорит, — приятных сновидений, граждане». И ушел. Как Сашу увели, я решила к мышонку этому сунуться. Все равно хуже не будет.

— Ну Лиза… — Николай Васильевич смотрел на нее с ужасом. — Ну-у-у Лизетта…

— У мамы осталось кольцо. Помнишь, Лидочка, она его никогда не снимала? Большой бриллиант, помнишь?

Лида кивнула.

— Я говорю: «Мама, вы снимите это кольцо, пожалуйста, и дайте мне». Она, конечно, в слезы: «Зачем?» Я говорю: «Потом объясню». Она сняла и отдала, ни одного вопроса мне не задала больше. Я подкараулила этого, на мыша похожего, подхожу к нему и показываю. И говорю: «Помогите брату, он ни в чем не виноват, это ошибка!» Он по сторонам огляделся — и хап! Кольцо — в карман. А через два дня Сашу выпустили.

— Слава богу, — глубоко вздохнула Лида и перекрестилась.

— Безумие, — прошептал Николай Васильевич, — бедная ты моя…

Казалось, что весь снег, который приходился на эту зиму, выпал ночью. От белизны резало глаза. Ноги закоченели, пока она дошла с Арбата до

Староконюшенного. Длинный человек с лиловой щетиной на подбородке смотрел на нее сквозь махорочный дым.

— Работа по ликвидации неграмотности. Паек обычный. Согласны?

Она ответила твердо, стараясь придвинуться как можно ближе к печке:

— Да.

— Ученицами будут гражданки, которые вам в бабки годятся. Без насмешек, поняли?

Выкатил бешеные глаза.

— Поняла.

— Ну все тогда, — успокоился он, зевнув и оголив два длинных передних зуба, — приступайте.

Очень хорошо, паек. Все-таки помощь Николаю Васильевичу. Маме она обещала, что будет в Москве, пока Лида не встанет. Паек неплохой — немного серой муки, бутылка растительного масла, картошка, сахар, спички. Коля принес вчера мороженой рыбы, пшена. Устроим пир вечером, Лидку покормим. Как она кашляет по ночам, слушать страшно…

Обернулась, почувствовала, что кто-то на нее смотрит. И от неожиданности сделала шаг в сторону, по колено в снег. Асеев. Сосед по Тамбову. В полушубке, как простой, в лохматой шапке.

— Здравствуйте, — сказал он и приподнял шапку. — Узнали меня?

— Узнала, — ответила она и нагнулась, вытряхивая снег из ботика. — Вы теперь в Москве?

— Я да, — сказал он рассеянно, но смотрел на нее внимательно, не отрывая глаз, — и вы тоже?

— Я здесь у сестры, она болеет. Вы ведь видели мою сестру?

— Видел вас обеих из окошка. Летом, перед самой войной. На вашей сестре была синяя шляпа.

— Давно как, правда? — грустно отозвалась она. — Даже странно, что вы шляпу помните…

Он улыбнулся. Она вдруг почувствовала, что не хочет, чтобы он простился и ушел, растворился в снегу.

— Послушайте, — сказала она решительно и темно покраснела под вязаным белым платком, — пойдемте к нам, я вас познакомлю с сестрой, хотите?

* * *

…На дворе лето, скоро на дачу. Маленькие окна нашего деревянного дома на Плющихе раскрыты настежь, в них, словно снег, летит тополиный пух. Мне шесть лет. Я слышу, как пронзительно звенит большой черный телефон, стоящий на

пианино. Бабушка смотрит на него остановившимися глазами, но не снимает трубку.

— Подойди же! — кричу я, но она не подходит.

Тогда я становлюсь на цыпочки и сама протягиваю руку к телефону. Бабушка слегка отталкивает меня и хрипло, испуганно спрашивает: «Да?» Что-то ей говорят там, отчего она берется рукой за свою левую грудь, подымает ее, рывком, словно хочет оторвать вместе с куском платья, и вдруг кричит так, как никогда не кричала при мне: «Костя-а-а! А-а-а-а! Костя-а-а!»

Из соседней комнаты появляется отец, хватает меня на руки и прыжками сбегает с лестницы. Мы торопливо идем по улице. Ясно, что ему надо увести меня как можно дальше от нашего дома, от бабушкиного крика. Когда он спрашивает, не съесть ли нам мороженого, я останавливаюсь и говорю:

— Почему баба кричала?

Он поднимает меня на руки, несколько раз целует и бормочет:

— Дедушка наш умер. Звонили из больницы…

* * *

Он заболел через год после смерти моей мамы. Но ее я помню еле-еле, а его — отчетливо. Исчез-

новение деда скрыть не удалось — я была уже большой. Ни болезни его, ни горя, от которого он свалился, я не заметила. Меня берегли.

Две недели назад среди стопки старых, чудом вывезенных из Москвы документов я наткнулась на свидетельство о его смерти.

…Каждый вечер мы ходили встречать его к метро «Парк культуры». Я волочила за собой лопатку, бабушка мои санки. Толпа народа выталкивалась из черноты, сильно пахнущей резиной. Среди разноцветных торопливых голов я тут же находила его высокую каракулевую шапку, похожую формой на те кораблики, которые бабушка умеет за минуту сделать из куска газеты или бумаги. Дед подходил к нам, целовал бабушку в щеку, она крепко и привычно брала его под руку. Каким был его голос? Не помню. Помню, как в начале Неопалимовского переулка, где после слякоти Зубовского бульвара начинался наконец свежий снег, я садилась на санки и говорила: «Быстро-быстро! Бегом!» И он, отдав бабушке портфель, припускался бежать так, что дух захватывало. Я откидывала голову, туго прикрученную шарфом к цигейковому воротнику, и надо мною неслось черное, в сверкающих зимних звездах небо. Лопатка в правой моей руке скользила по сугробам,

и, весь в разноцветных искрах от уличных фонарей, снег вспыхивал от ее прикосновений.

* * *

Он плакал по ночам, вжимая лицо в скользкий потертый диванчик, чтобы Лиза не слышала. В диванчике жили клопы, и поэтому его приходилось периодически опрыскивать какой-то темной гадостью. Клопы, видно, давно принюхались к ней и не реагировали, но ежедневно выходили на ночные прогулки по тусклым обоям.

Восьмого марта, месяц назад, умерла их единственная дочка. Оставила трехлетнюю девочку. Девочка спала в детской кроватке, рядом с ней — на большой кровати — спала внезапно поседевшая Лиза, все время что-то бормочущая во сне и всхлипывающая. По потолку мягко проплывали отблески редких автомобильных фар.

— Господи, — беззвучно просил он, — возьми меня к себе…

Но тут же малодушная жалость к Лизе заливала его сердце.

* * *

— Веду его на Арбат, а сама думаю: ну, Коля

мне задаст! Только гостей нам не хватало! Но мы сразу разговорились, как родные. Как сейчас вижу: темень, снег, жуть — и Костя мой. Взял меня под руку… Пришли. Я говорю: «Посидите здесь, я посмотрю, как там Лидочка…»

Он сидел в маленькой нетопленой комнате, прислушивался к тому, что доносилось из спальни. Оживленный ясный голосок Лизы перебивался другим голосом — плавным, низким, с прозрачным, еле заметным пришептыванием.

— Лида, молоко тебе нужно выпить, я сейчас вскипячу.

— Молока нет, я его Оле всучила для Николки.

— Ли-и-и-да! Ну как же? Николка у нас, слава богу, здоров, а тебе молоко необходимо!

Вдруг он почувствовал, что сейчас упадет на кушетку и крепко заснет. Не потому, что хотелось спать, а потому, что странная, сладкая истома, тягучая блаженная слабость охватила его, ноги стали ватными, мелкие щекотливые мурашки побежали по всему телу, руки потеплели, душа успокоилась. Снег опять повалил за окном. Он слышал его звук — шероховатый, нежный, который был точно таким же и тогда, когда няня со свечой входила в детскую и говорила ворчливо: «Что сыпет, что сыпет! Зги не видно!»

Лиза отворила дверь и позвала его. Он вошел. Женщина, которую он только однажды видел перед самой войной из окна своего тамбовского дома, сидела в глубоком кресле в пушистом сером платке, наброшенном на плечи поверх темного халата. Вишневое шелковое одеяло укрывало ее до пояса, и странно светились худые, почти прозрачные руки, ярко освещенные печным пламенем. Лицо, волосы оставались в тени. Лиза прошуршала где-то сбоку, выдвинула из темноты синюю бархатную скамеечку, села сама и показала ему рукой: «Садитесь».

— У вас остался кто-нибудь в Тамбове, Константин Андреевич? — спросила Лида.

— Да, — невольно понижая голос, чтобы не мешать нежному детскому звуку снега за окном, ответил он, — остались две сестры. Им прежде помогал мой друг, Степа Обновленский, пока был там, в городе, но он уехал за границу, удрал, не вынес.

— Вы думаете, — быстро спросила Лиза, подавшись всем телом вперед и заглядывая снизу в его лицо, — вы думаете, что он правильно поступил, ваш друг?

— Не знаю, — честно ответил он, — может быть, да, может быть, нет. Иногда мне кажется, что этот

кошмар вот-вот закончится. Проснемся утром — и все. Ничего нет. Просто жизнь. Такая, сякая, лучше, хуже… А иногда я спохватываюсь и понимаю, что если уж началось, то… Мы попались, к несчастью, мы не вырвемся.

— Боже мой, — сказала Лида и закашляла, — я все думаю: ну ладно, мы. Мы грешили. — Она огненно покраснела и задохнулась. — Мы грешили, — продолжала она с трудом, сквозь кашель, — но сколько невинных есть на свете, верно? Дети, животные… Им за что?

— Я думаю об этом тоже, — отозвался он, мучаясь тем, как трудно ей говорить. — Я об этом много думаю. Хуже всего, если теряешь веру. Когда человек верит, что нам не дано постичь, отчего так, а не иначе, когда он полагается не на себя, а на… Но если не веришь? Тогда действительно очень страшно, не дай бог. А они, — он остановился на слове «они», — они только того и добиваются, чтобы отнять у нас веру. Чтобы не на что было опереться.

Лида сильно вздрогнула всем телом.

— Только бы знать, что дети за наши грехи не ответят, — прошептала она, — у вас ведь нет детей, Константин Андреевич?

— Нет, — он покачал головой, — я не женат.

* * *

— Да разве бы мы выжили? — Бабушка моя испуганно понижает голос. — Да прям! Да ни в жизни! Костя нас спас. И меня, и ее, — смотрит на мамину фотографию на стене так, словно бы это не фотография, а сама мама была здесь, в комнате. — Умный он у меня был, ох умный! Как она родилась, — неотрывный влюбленный взгляд на ласковое лицо в черной рамочке, — как она родилась, так он — хоп! И спрятался. И нас спрятал. Все-о-о понял! Все-о-о! Мне ничего не говорил, не хотел пугать, а сам понял! Я ему зудела: «Давай хоть квартиру хорошую получим, другие же получают. Как они это делают?» А он надо мной смеялся: «Тебе здесь плохо? Ванны нет? В баню пойдем! Чем не удовольствие?» Высовываться не хотел, зависти боялся. Стукачей за версту чувствовал. Никого к себе не приблизил, ни в какие гости не ходил. Только родные, только семья. Троих племянников взял после Вариной смерти, воспитали как своих, ты же знаешь. Я никогда не спорила. Как за каменной стеной прожила. Чуть какой вопрос про большевиков задам, он мне знаешь что отвечал? «Перечитай, Лиза, роман «Бесы» Достоевского. Там все написано».

Я Достоевского терпеть не могла. Ну не мой писатель! А он зачитывался. «Бесами» особенно. Ох умен был! И ей объяснил, что к чему, — смотрит на мамину фотографию, — не хотел, чтобы дурой росла. Уберегал ее с самого первого дня…

— Боялся он их, тетя Лиза?

— Большевиков-то? Кто же их, сволочей, не боялся?

* * *

Пьяный Савелий в расстегнутой гимнастерке шумно дышал ей в лицо перегаром. Руки его пахли мочой.

— Ну, Лизавет Антонна! Тирли, тирли, солдатирли, али, брави, компаньон! Ротик пожалте!

Мокрые губы впились в ее шею. Она яростно отбивалась, изо всех сил молотила кулаками по мясистому, в колючей шерсти, мокрогубому лицу.

— А я не просто так, не задаром! — бормотал Савелий, шаря табачными ладонями по ее груди. — Я с подарочком! Слышь, девка, я с подарочком! За один разик, с подарочком!

— Пусти, — пискнула она, — Николай Васильевичу скажу, слышишь?

— Ну напужала! — зарычал Савелий и икнул от

хохота. — Обоссусь со страху! Да мне стоит словечко шепнуть, и нет твоего Васильича! Знаешь, за кем ноне власть-то?

Она поняла, что теряет сознание. К горлу подступила рвота, ноги задрожали. Тогда она жалобно прошептала «Лида», и тут же в распахнутой двери спальни выросла сама Лида, в огромном халате Николая Васильевича, с серым платком на плечах, в рыже-каштановом золоте незаплетенных волос, огненно-румяная, как всегда по вечерам, когда у нее поднималась температура.

Лида набросилась на Савелия так, будто никогда не болела, не лежала два месяца в постели, не шаталась от слабости.

— Я тебя убью, негодяй, — задыхаясь, вскрикивала она, изо всех сил колошматя Савелия по голове и плечам (он еле успевал отбиваться), — убью, и все! Лиза, я его убью!

В четыре жалких, худеньких, побелевших от напряжения кулачка они осыпали его градом ударов, и пьяное мокрогубое существо в расстегнутой гимнастерке, дико пахнущее мочой и перегаром, отступало назад, заслонялось руками, чертыхалось…

— Будешь знать, будешь знать, скотина, как до нас дотрагиваться! — задыхаясь, бормотала Лида,

наступая обеими ногами на свалившийся серый платок. — Я тебе глаза выцарапаю, вот, как бог свят, выцарапаю!

Савелий, отругиваясь, уполз в кабинет Николая Васильевича, нынешнюю свою комнату, и запер дверь.

Красные, потные, растрепанные, они сели на бархатную скамеечку в спальне и расхохотались. Они хохотали до слез, истерически, со стоном и всхлипами, затихали на секунду, но, встретясь глазами, тут же снова взрывались хохотом. В таком виде и застал их пришедший из госпиталя Николай Васильевич. Лиза подпрыгнула и повисла на его шее.

— Колечка! Что я тебе расскажу!

— Да вы одурели обе, — сурово сказал Николай Васильевич, топая ботинками, чтобы согреться, — что случилось?

— А то! А то! — звонко кричала Лиза. — Мы с Лидкой избили Савелия!

Николай Васильевич вытаращил глаза и — как был в шубе и шапке — опустился на разобранную Лидину постель.

— Избили! — захлебывалась Лиза. — В кровь! Всего! К чертовой матери! Засранца поганого! Говнюка! Мерзавца! Мать его… Рас-так-так!

Она зажала рот обеими руками и оглянулась на Лиду. Лида плакала от смеха.

— А-а, — задумчиво сказал Николай Васильевич, — грамоте тебя твои ученицы обучили. Прогресс в действии…

— Не буду, не буду, — замахала руками Лиза, — я редко ругаюсь! Но сейчас, Колечка, сейчас мне сам бог велел! Ты погоди, ты послушай: прихожу я домой, и тут этот говнюк ко мне, сволочь эта! Как схватит обеими руками! Они у него хуже клещей! И ну целовать! — Она передернулась от отвращения. — Я отбиваюсь как могу, царапаюсь, но разве мне одной с ним справиться! Тогда Лидка… Вылетела из спальни. Как эту богиню звали, возмездия? Вот точь-в-точь! Как давай его лупить! А я с другой стороны! Ругаемся на него последними словами! — Она округлила глаза и опять зажала себе рот. — И бьем его, бьем! Избиваем! Заперся от нас в твоем кабинете, носу не показывает!

* * *

— Умирать буду, Аня, а не забуду этого вечера, — говорит она и вновь прикуривает, щурится от дыма. — Лидка тогда словно воскресла, ни разу не кашлянула. Коля изюму принес, рассказал нам, откуда у него этот изюм. Как сейчас помню!

Позвали его к какому-то. Ну к чекисту, к кому же еще? Теща у того в тифу. Коля ее осматривает, а она бредит, с мужем покойным разговаривает: «Ты, — говорит, — Ваня, сам лучше в большевики запишись, по своей воле, а то они тебя силком запишут! Они хитрые!» Но за визит, конечно, доктору заплатили. Изюму дали, хлеба серого и — мы глазам не поверили! — меду! Коля сварил желудевого кофе, я оладьев нажарила, пир горой! И главное — Лида ни разу не кашлянула!

…В середине ночи она проснулась. Николай Васильевич ровно дышал рядом. Она вскочила, босиком подошла к окну, отогнула занавеску. Снег перестал, все вокруг было ярко-белым. Она подняла глаза и увидела опухшее желтое лицо, изрытое оспинами, в простом бабьем платке. Лицо плыло по невысокому небу, мягко перебирая губами, словно пытаясь что-то сказать на прощанье. Лида прижала лоб к стеклу и изо всех сил всмотрелась. Луну быстро несло в сторону, шепот ее не был слышен, но видно было отчаянье разлуки, тоска наступающей темноты, закатившиеся глаза. Черная туча, тряся маленькой отваливающейся головой, подползла к ней сбоку, и луна покорно, торопливо поднырнула под нее. Все погасло на земле, исчез снег.

— Николка! — простонала Лида и тут же то, от чего она проснулась, пришло к ней.

Во сне она потеряла Николку. Только что он был у нее на руках, она несла его — сонного и горячего — через осенний лес, где пахло прелой листвой, и тяжесть маленького тела наполняла все ее существо радостным теплом. Вдруг она почувствовала резкую боль в правой ноге и от неожиданности села на траву. Положив спящего Николку рядом с собой, она приподняла подол и увидела, что правой ноги больше нет. Вместо нее болталось что-то липкое, черное, бесформенное, из чего медленно капала густая, тоже черная, кровь. Она опустила подол, пряча этот ужас от самой себя, и хотела опять взять Николку на руки, но его не было рядом. Тогда она догадалась, что спит, и сделала усилие проснуться. Ей показалось, что она действительно проснулась, лежит на своей кровати, в комнате трещит печка, и Николка — живой и здоровый — сидит на синей скамеечке, уставившись на нее внимательными глазами Николая Васильевича.

— Ну слава богу, — прошептала она и обернулась на стук хлопнувшей двери.

Когда же через секунду она вновь повернула голову, на синей скамеечке вместо Николки ле-

жала змея, которая корчилась и раздувалась, как пузырь. У Лиды потемнело в глазах: она поняла, что змея раздувается потому, что проглотила ее сына.

Кошмар оборвался.

Густая тьма была вокруг. Даже ровное дыхание спящего Николая Васильевича не приносило облегчения. Она знала, что каждый человек и во сне и наяву живет сам по себе, и нет такой силы, которая спасала бы душу от одиночества. Но во тьме, в пустоте, в ослепшем аду, у нее, Лиды, была одна слабая надежда — сын. Любимое кудрявое существо, вышедшее из ее собственного нутра. Оно принадлежало ей, сосало когда-то ее молоко и засыпало на ее руках.

Но вот уже два месяца, как Николай Васильевич переселил Николку к теткам и не собирался забирать его, пока Лида не поправится.

«Сон в руку», — вспомнила она нянины слова и вздрогнула от страха. Ей важно было расшифровать то, что она увидела, потому что, не расшифровав, нельзя было жить дальше.

Она потеряла сына оттого, что не уследила за ним и позволила змее заползти сюда, на синюю скамеечку. Это говорил сон. Стало быть, сон объяснил ей, что она, она одна, виновата в том,

что Николка не живет дома, а сама она третий месяц не встает с постели, мучая Лизу и Николая Васильевича.

В глубине души Лида знала, что заболела от тоски по человеку, который когда-то дотронулся до ее тела так, что вся прежняя жизнь распалась. Она любила этого человека, и чем дольше была их разлука, тем мучительнее она любила его.

Кровь прилила к голове, босые ноги перестали чувствовать ледяной холод пола.

— Иди ко мне, — услышала она его голос.

Знакомые сильные руки обхватили ее, и тут же она почувствовала внутри себя его родную, огненно-горячую плоть. Разламывающая боль внизу живота стала невыносимой, тело содрогнулось, вспыхнуло, и, теряя сознание от стыда, ужаса, блаженства, Лида вытерла дрожащей ладонью почти забытую, горячую влагу…

Через несколько минут она неслышно легла на кровать рядом с мирно спящим Николаем Васильевичем, обхватила голову руками и начала судорожно думать обо всем сразу. То, что она грешна, она знала, за несколько лет привыкла к этой мысли и, казалось, почти смирилась с нею. Но сейчас грех ее предстал перед нею в новом свете.

Змея во сне была грехом, змея отняла у нее ребенка. Грех повлек за собою то, что она заболела и должна умереть, оставив Николку сиротой в страшном, разваливающемся мире, покинутом даже луной. А может быть, все, что происходит сейчас в этом мире — вся эта кровь, стыд, Савелий, — может быть, все это и наступило лишь потому, что она, Лида, так грешна и бесстыдна?

* * *

— Умирала на наших глазах, таяла, ничего не ела. Сейчас бы, конечно, сказали «депрессия, депрессия» или еще дурь какую выдумали, а тогда все было просто: тоска и тоска. Приду домой с работы, сразу к ней: «Лидочка, ты как?» Смотрит на меня — глазищи на половину лица, ресницы такие, что в уголках закручивались! — смотрит на меня и шепчет: «Тоска, Лизка...» Я и так и сяк, а жрать-то нечего, а дрова кончились! Она чистюля была — у-у-у! Не приведи бог один день не помыться! Ну давай воду греть, мыло бережем, Коля все доставал, а у нее — волосы до пят, разве промоешь! Она мне говорит: «Тащи ножницы!» Я: «Лидка, жалко!» — «Ничего не жалко». И отрезала под самый корень. Лежала, кудрявая, как мальчик, ручки — тоненькие! А красавица. До

последнего вздоха — красавица.

* * *

Сын мой родился на седьмом месяце беременности. Делали кесарево, роняли страшные прогнозы. Мне было двадцать лет. На седьмой день после родов сообщили, что у ребенка есть шансы выжить, а потому завтра его переведут в клинику для недоношенных.

— Вы, мамочка, не очень обнадеживайтесь, — сказала мне блондинка в белом халате, — мы не можем ручаться, в какую сторону ваш сынок повернет. Ко всему надо быть готовой.

В застиранном больничном халате с тесемками, подложив под себя бурую тряпку, именуемую пеленкой (выдавали по две на день каждой роженице), я сидела на кровати с пересохшим, огненным от температуры лицом и неотрывно смотрела на дверь, откуда приносились все новости. Одна мысль преследовала меня и была сродни болезни: я боялась, что меня обманывают, чтобы не волновать, а ребенок либо уже умер, либо так плох, что его увозят куда-то, где будет легче скрыть от меня его смерть.

Вставать мне не разрешали, так как операция прошла тяжело, шов нагноился и грозил разой-

тись. Я находилась в палате на шесть человек, все были только что после родов, всем уже приносили кормить, и я с завистью рассматривала морщинистых младенцев, каждый из которых казался мне чудом. Моего не приносили. «Он сосать не может, — мимоходом объяснили мне, — слабый очень». Но однажды вечером старая, шамкающая беззубым ртом нянька назвала другую причину, от которой во мне остановилась кровь: «Да боятся они его тебе показывать, боятся — привыкнешь! Это ведь знаешь как? С грудничками-то? Покормит мать один раз — и все. Сердце-то прикипает. У нас, бывало, девчонка какая родит и воет: «Забрать не могу, отца нет, жить не на что». Ну а принесут покормить, она и давай передумывать! И ведь многие, как покормят, забирали, из этих, из отказух-то!»

В больницу ко мне, разумеется, никого из родных не пускали, но записочки, которые я от них получала, были самого веселого содержания.

«Врут, — думала я, давясь рыданьями и отворачиваясь к стенке, чтобы счастливые соседки не заметили, — все врут…»

Если бы увидеть их лица! Застать врасплох! Разве я не поняла бы тогда по глазам, по губам, что происходит на самом деле?

Палата была на пятом этаже. Зажав обеими руками заклеенный пластырем живот, я подошла к окну. Оно было закрыто, несмотря на теплый, благоухающий чахлой сиренью июнь. Внизу, на лавочке, сидела моя бабушка, уже, судя по всему, передавшая мне наверх ягоды и домашний творог и сейчас просто отдыхающая в скверике роддома. Рядом с ней возвышалась густо напудренная, с подчерненными бровями, с большим седым «коком» на лбу старинная ее подруга Ляля Головкина, княжеского рода, нелепая, милая, смешная старуха, неделями жившая у нас на даче каждое лето. Я смотрела на них сверху и чувствовала, как затвердевший внутри меня ужас размягчается. Бабушка что-то говорила Ляле — как всегда энергично и быстро, и на Лялино робкое, как я поняла из окна, возражение неистово замахала на нее левой кистью. Одного взгляда на бабушкино изрезанное морщинами, светло-черноглазое лицо хватило мне, чтобы успокоиться.

Она, ни разу не видевшая своего семидневного правнука, повисшего между жизнью и смертью, вырастившая меня, похоронившая единственную дочку, мою маму, была спокойна и весела в это утро.

Тогда я заплакала, но уже другими — бурными,

облегчающими слезами — и, зажимая ладонями живот, вернулась на кровать.

Через полчаса в дверь просунулась коротенькая медсестра с двумя серыми свертками на правой и левой руках.

— Гляди быстрей, — застрекотала она, — завтра спозаранку переводим, посмотреть тебе принесла. Твой-то вот этот вроде, правый!

Откинула уголок одеяла, и я увидела коричневый лобик с завитком посредине и редкие, загнутые ресницы.

Жизнь моя, мой свет, мой маленький мальчик спал там, в шершавой темноте, тихо-тихо дышал в ней, не зная, что мы вот уже семь дней как отрезаны друг от друга и теперь каждая минута, оставшаяся мне до смерти, зависит от его дыхания.

* * *

Из Тамбова пришло письмо. Читали, сдвинув головы.

«Дорогие мои девочки, родные, ненаглядные Лизочка и Лидочка! Папа наш скончался шестого февраля, мы его похоронили. Слава богу, что удалось упросить батюшку прийти к нам и почитать молитвы над покойным. Мы с няней тоже

молились всю ночь, и я надеюсь, что душа моего дорогого мужа и вашего отца сейчас успокоилась в обители Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Поплачьте и вы, мои девочки, мои доченьки, как плачем сейчас мы все — Саша, я и няня, но поймите и то, что при нынешней жизни, которая выпала вашему отцу, смерть для него была благом и освобождением от страданий. Не знаю, имею ли я право писать вам так, как говорит мне сердце? У нас тут пугают, что письма прочитывают, но ведь другой возможности поговорить с вами, доченьки, у меня нет, так что я уж напишу так, как сердце подсказывает. Ужас даже рассказать, что пережил ваш отец, да и мы все! Подвал нашего дома, если вы помните, совсем не пригоден к жилью в холодное время, он ведь не отапливается и без окон, очень сырой, плесень на стенах. Когда они заняли дом и в большой гостиной устроили свой штаб (никогда я не слыхала такого слова!), а в папином кабинете стали, как говорят, даже допрашивать людей (наверное, это чистая правда, потому что иногда к нам доносятся крики), так от всего этого мы просто чуть с ума не сошли! Главный их штаб, правда, в другом месте, в доме Дворянского собрания, не у нас. Особенно ужасно было то, что они велели

нам никуда не уезжать (а куда мы могли уехать с лежачим папой после удара?) и жить здесь же, внизу. Ты, Лизочка, все это знаешь, ты все это застала. Слава богу, хоть ты уехала. Сейчас мы, слава богу, держимся. Мученье было смотреть на папу, как он болел и плакал. А теперь, когда я знаю, что ему хорошо, мне тоже стало спокойнее. Что будет, то и будет, не в наших силах изменить Божью волю. На Него уповаю, на милосердие Его. Саша устроился, работает техником на железной дороге, боюсь за него. Характер у него тяжелый, неуживчивый, хотя добр без меры, да не вам рассказывать, вы его знаете. Он по ночам почти не спит, читает нам с няней поэта Александра Блока и все повторяет, что это нам возмездие за грехи, революция и большевистская власть. А я иногда думаю: да неужели мы, русские, всех на свете грешнее, что нам такое выпало? Неужели Россия такая дурная, грешная страна и все в ней так дурно, что Господь на нее посылает кару за карой?

Новости все очень грустные, даже не знаю, писать ли вам. Здесь у нас расстреливают сотнями, свозят людей в Ключарево и там убивают. Там же и закапывают. Расстреляли, Лизочка, мужа твоей подружки, Надюши Субботиной, Володю. А Наденька родила двоих детей — мальчика и

девочку, близнецов. Что с ними будет? Вот такое мне пришлось вам написать печальное письмо, голубки мои родные, девочки. Ради бога, не беспокойтесь за нас, не болейте, все время думаю, как твое здоровье, Лида, и горько плачу…»

* * *

— Ох, как мы задним умом крепки, Аня! Ох, крепки! — Хлопает себя по затылку, смеется. — Я бы сейчас разве так с ней поговорила? Лидке надо было сто раз на дню повторять, что нету никакой ее вины, все под богом ходим. Ну, грешила и грешила! При ее-то красоте? Да ей проходу не давали, мне ли не помнить! Стрелялись ведь за нее! Мальчишки желторотые, гимназисты, на плотине дуэли устраивали! Вышла за Николая Васильевича, что она понимала? А тут — любовь. Конечно, хочется. Куда от этого денешься?

— Так вы что, тетя Лиза, за супружескую измену — горой?

— Я не за измену, Анька, дурында, я за чувства человеческие. Чувство душить нельзя, оно — как зверь в лесу. Ты его подстрелишь, оно отползет, все в крови, еле дышит, и давай раны зализывать! Зализжет — и опять на тебя! Нет, тут шутки плохи. Я вот смотрю на идиоток этих, на подруг моих.

Половина в могилах лежит — земля им пухом! А счастливой ни одной! Таню Бабанину помнишь, красавицу?

— Да у вас, тетя Лиза, все красавицы!

— Врешь, не все! Сонька Забегалина урод уродом, губки вот так сложит… — Смеется, показывает как. — Сложит губки, как будто у нее там сухарик спрятан, и давай лебезить! «Сю-сю, тю-тю…» А ведь лучше всех прожила!

— Почему?

— А потому что делала все правильно. На рожон не лезла. Все — тихой сапой, тихой сапой. На вторую неделю после свадьбы дураку своему изменять начала, а на людях — посмотришь: два голубя! И под ручку его, и за ручку, тьфу! Прости, Господи, меня, грешную!

— Вот сами же и плюетесь!

— И плююсь! А только голову надо иметь — на свете жить! Я Косте своему ни разу даже мысленно не изменила! Так ведь то — Костя! Ни один мужик в подметки не годился!

* * *

Асеев ждал ее на углу Никитской, как всегда. Пойти было некуда. К себе она звала не часто, там умирала сестра. Бродили под руку по засне-

женным аллеям. Он не обманывался насчет себя, знал, что с ним происходит. Белые сугробы были покрыты ледяной корочкой, редкие прохожие испуганно пробегали мимо. Никто не гулял так, как они, никто не останавливался, как они, посреди холода и снега, чтобы видеть глаза друг друга.

— Посмотрите на меня, Лиза, — сказал он, — вы верите мне?

— Кому же мне верить, кроме вас? — отозвалась она и крепче прижала к себе локтем его руку.

— Лиза, наверное, это безумие: в такое время, как сейчас, делать женщине предложение?

Она ахнула и открыла рот. Он наклонился, прижался к ее рту губами. Долго не отрывался, у нее остановилось дыхание.

— Лиза, — сказал он решительно, — я вас прошу: не отказывайте мне, давайте повенчаемся.

* * *

— А ты говоришь: трудно, страшно! Ничего не трудно, если любишь! Слава тебе, Господи, сорок лет прожили.

— Не ссорились?

— Да что, я помню? Ну ссорились, какая разница? Поссорились, помирились. Главное: дышать не могли друг без друга. У меня вон писем его

целая коробка! И каких писем! Кому показать — стыдно!

— Что, любовные?

— А какие же? Очень даже любовные. Мужик был — во! На большой палец!

— Как же вы Лиде сказали про предложение?

— Он сам сказал Николаю Васильевичу.

* * *

— Лидуша, — осторожно позвал Николай Васильевич, — спишь, милая?

— Коля! — Она резко села на постели — золотоголовый, кудрявый подросток с испуганными глазами. — Коля, я умру.

Николай Васильевич страдальчески сморщился.

— Брось, Лида, глупости. Скоро весна, начнешь выходить, солнышко тебя вылечит.

Она покачала головой, из огромных глаз выкатилось по слезинке.

— Мне Ольга вчера сказала, что в деревнях началось людоедство…

Он чуть не схватился за голову: сестры у него — дуры набитые! Ну как можно было Лиде сказать такое? Каким местом, дура, думала? Вслух произнес спокойно:

— Много чего говорят, Лидочка. Людоедство как таковое начаться не может, это патология единичного характера.

— Ну так вот, — прошептала она, — один единичный, второй единичный, третий… Вот и началось…

Николай Васильевич быстро, испуганно посмотрел на нее. Сидит на высоко подложенных подушках, вязаный платок на плечах, прозрачной рукой придерживает его у горла. Глаза почти черные, а на самом-то деле карие, с золотом… Куда все делось? Черными глазами поймала его взгляд.

— Коля!

— Что, милая?

— Береги Николку.

— Лида! Перестань!

— Нет, — настойчиво повторила она, — я тебя прошу: дай мне слово.

— Какое слово? — простонал он. — О чем слово?

— Когда меня не будет, — прошептала она, — дай мне слово, что ты не запьешь, не спустишь с него глаз и все сделаешь так, как если бы я была…

Голос ее сорвался, и она продолжала шепотом:

— Будешь молиться вместе с ним, приведешь к нему… — подняла глаза, — а я упрошу Царицу Небесную, чтобы…

Николай Васильевич перебил ее:

— Лида! Опомнись! Выздоровеешь, выберемся как-нибудь из этого кошмара, возьмем Николку домой, с божьей помощью…

— Вот! — вскрикнула она. — Вот! Сам говоришь: «с божьей помощью»! Коля, только ты меня прости…

Николай Васильевич стал на колени перед кроватью и вжал лицо в подушку.

— Прости меня, — прошептала она и расплакалась, — если можешь, конечно…

Николай Васильевич тут же взял себя в руки и встал:

— Я тебя давно простил, Лида. Наши счеты бог сведет. Не думай об этом.

— Как же? — слабо усмехнулась она. — Как не думать? Мне теперь кажется, что и я людоедка. Съела тебя, бедного…

— Да будет тебе: «съела»! Ты гляди: жирный какой! — Он быстро закатал рукав рубашки. — Кровь с молоком! Давай, милая, я тебе горчичники поставлю. Пойду воды нагрею. Потом чаю горячего выпьешь, пропотеешь как следует.

— Коля!
Он уже был в дверях, оглянулся.
— Что, милая?
— Дай мне слово… О Николке…

Как она изменилась. Силы небесные! И душевно и телесно. Телесно, впрочем, больше. Одни косточки. Ставишь горчичники — лопатки выпирают, как у детей. Грудь похудела, личико обтянуто кожей, под глазами синева. Николай Васильевич заваривал чай. Только для нее, только Лидочке, из старых запасов, они с Лизеттой кипятком обойдутся. Щеки, усы, борода у него были мокрыми от слез, не замечал, не стряхивал.

Куда «этот» делся? Посмотрел бы сейчас на ее тело прозрачное, на лицо с запавшими висками! Небось бы вздрогнул! Не такую соблазнял, не такую в Париж катал! Николая Васильевича передернуло от ненависти. «Ему» не прощу. Не дай бог когда встретиться! Опять оно хлынет изнутри — боль с остервенением. Тут уж ничего не поделаешь. Но она, она, Лида! Даже Николка не вызывает того мучительного обожания, того трепета — где слова-то найти? — как она, ее измученная плоть, которую она боится открывать и показывать — до того изменилась!

Милая моя… Лиза ее упрашивает: «Лидуша,

дай я тебе помыться помогу! Впусти меня!» Ни за что. Голос тихий, слабенький: «Я сама, не надо». Стесняется того, как они за ней ухаживают, краснеет, переживает. Прошлой ночью вдруг началась рвота. Выворачивало. Печень, судя по всему. Держал тазик перед ней, она давилась, рвало одной желчью.

— Коля, я сама! Иди спать! Умоляю!

Гладил ее мокрый лоб, целовал руки. Девочка моя бедная… Жена моя, родная, ненаглядная.

* * *

— Лида была так плоха, что мне стыдно стало: как же я им скажу, что мы с Костей венчаемся? С папиной смерти месяца не прошло! Косте говорю: «Жди. Надо, чтобы сестра поправилась, у меня язык не поворачивается!»

— Да ведь время-то какое было! Тетя Лиза!

— А что тебе, Аня, время?

— Как что? А советская власть-то?

— Пропади она пропадом, советская власть! — Оглядывается, сама в ужасе от того, что произнесла. Шепотом, навалившись грудью на стол: — Бесы были, бесы и есть. Костя не зря их так называл.

— Как же в такое время вы умудрялись все

это?

— Что — это?

— Ну все? Влюбляться, надеяться? Откуда силы брались?

— А на краю, Аня, у человека сил прибывает. Глупостей в башке меньше. Вот подойдешь к самому краю и… Когда у тебя в подвале мать, и хлеба нет, и брата того гляди посадят, а здесь, на глазах, сестра умирает, мальчика семилетнего оставляет, а по ночам тебя саму патруль может схватить и тогда ищи-свищи ветра в поле! А при этом тебе двадцать лет, и тебя первый раз мужик в губы целует, то уж тут… Да что обсуждать! Сдохнем — отдо-о-охнем, как говорится!

— Вы, тетя Лиза, для меня загадка. И всегда были загадкой, всегда! Вы в зеркало посмотритесь: кто хуже вас одет? Никто! Почему вы себя в порядок не приведете? А словечки ваши! «Мужик», «баба»! Не понимаю. — Поджимает губы и сверлит бабушку глазами. Глаза, как у совы, круглые.

Бабушка вздыхает, вытаскивает было из пачки новую папиросу, но спохватывается, сует обратно, бежит на кухню, ставит чайник.

— Ой, ты мне только подруг моих не напоминай! Весь век кудри взбивали, губы красили, все боялись, что их за кухарок примут! На Ляльку

с Муськой посмотри: до сих пор фордыбачатся! Муська еще туда-сюда, с большевиком пожила, он из нее дурь выбил, а Лялька?

— Подруги вам не указ, я знаю. Но дядя Костя, покойник, ему разве нравилось, во что вы превратились?

Вместо ответа она заливается, вытирает слезы, выступившие от смеха.

— Ну, Анька, ты у нас дурей дурного, дай тебе бог здоровья! Костя меня на руках носил! Чего ни надень! Однажды только у нас казус вышел. Рассказывала я тебе, как я ногу разрезала? Ломом железным? Не рассказывала?

— Не помню.

— Ну так вот. Мы тогда только дачу построили, сороковой год, перед войной лето. А на даче мы знаешь в чем ходили? Рваней рваного! С печкой я мучилась, руки в копоти, в земле, грядки полола. Костя на работе. Каждый вечер приезжал с шестичасовой электричкой. Пошла яму мусорную закапывать к соседскому забору и, ну не помню как, оступилась, наверное. Короче, свалилась прямо на лом, на железки какие-то. Пропорола насквозь. Лежу, встать не могу, кровь хлещет, полноги разворотило. До сих пор шрам. Бежит соседка. В ужасе. «Надо «Скорую», вы кро-

вью истечете!» Побежала в сторожку, вызвали «Скорую». Везут меня в Пушкино, в больницу. Там врач молодой, красавец. Начал мне швы накладывать. А терпеть — сил нет, боль адова! Я ору благим матом. Он рассвирепел: «Молчи, дура деревенская, работать не даешь! Наплодили вас, дикарей, на мою голову!» В таком духе. Вечером Костя приехал. Соседи ему сказали, что я в больнице, он — на электричку и ко мне. Входит в палату — в костюме хорошем, с портфелем, усы подстрижены. Во — мужик! На большой палец! Лучше всех! Он, если выходил куда, — всегда одевался хорошо. Ну и порода, конечно. Что было, то было. Разговаривает с этим врачом, тот как раз больных обходит. Я лежу. Врач его спрашивает: «А вы ей кто?» — «Муж». Тот так и осел: «Ради бога, — говорит, — извините, я думал, она простая совсем, ругался на нее, ради бога, извините!» Костя смеется, а я врачу говорю: «Ничего, — говорю, — cher ami, бывает…»

— Ну хорошо, тетя Лиза, так что вы мне начали объяснять-то про время?

— А что про время? Пока люди живы — они живы. Он ведь появился тогда, в Москве, Лидкин-то!

— Кто?

— Ну этот, не хочу называть.

— Господи-и-и!

И пришел. Иду вечером с работы, одна, без Кости. Обычно он меня провожал, а тут — одна. Замерзла как цуцик. Смотрю: околачивается какой-то у нашего парадного. В шубе. И — ко мне: «Ради бога, простите, барышня!» Я говорю: «Вам кого?» По голосу слышу, что из бывших. «Как здоровье Лидии Антоновны?» Я говорю: «Болеет». Он спрашивает: «Вы, наверное, ее сестра младшая?» Я сразу все поняла. В жар прямо всю бросило. Он тоже понял, что я догадалась. «Разрешите мне зайти. Я ее старый друг». Ну, думаю, дудки! Ни за что не пущу! Он снял шапку, голова такая, знаешь, красивая, лоб как мраморный, и говорит: «Умоляю вас, Лизавета Антоновна, разрешите нам повидаться». И так он это сказал, что… До сих пор помню! Я говорю: «Лида очень больна, мы не принимаем. Я у нее спрошу, зайдите завтра». И — шмыг в дверь. Лицо горит, руки дрожат, что делать — убей бог, не знаю! Вот ты хотела, чтобы я тебе про время рассказала, вот я тебе и рассказываю! Восемнадцатый год! Все давно в могилах лежат, а у меня — перед глазами! Вхожу: Лидочка спит. Думаю, подожду, пока Коля придет. Приходит Коля. Я молчу. Он измученный, в городе тиф, работы невпроворот, ну как я скажу? Ничего не

сказала. А утром заикнулась Лиде. Это был день ее рождения, шестнадцатое февраля.

* * *

Шестнадцатого февраля было нехолодно, с сосулек капало. На рассвете Николая Васильевича срочно вызвали в госпиталь, убежал еще затемно.

— Лидочка, поздравляю тебя! Дай тебе бог поправиться скорее! Смотри, какой мы пирог испекли!

Пирог из ржаной муки — роскошь немыслимая! — испекли вместе с Николаем Васильевичем ночью. Раздобыли где-то несколько грецких орехов, пару цукатов. Вылепили тестом и орехами цифру 30, положили на синюю с белым, английского фарфора, тарелку.

— Прелесть, Лизка! — Кашляет.

Как ей сказать?

В полдень пришли Ольга с Зиной, привели Николку. Николка подрос. Обеими руками Лида держала его за руку. Николка смотрел на нее внимательно, потом спросил:

— Когда ты меня заберешь?

У нее глаза налились слезами. После ухода Николки на полу возле кровати осталась лужица

растаявшего снега, натекло с галош.

— Лидочка, ты знаешь…

— Что?

— Лидочка, вчера я иду с работы, и тут, у нашего парадного, стоит твой…

Она приподнялась на подушках, лицо белое, губы раскрылись для крика.

— Врешь…

— Лида!

— Лизка, не надо!

— Лидочка, ради бога, не волнуйся! Тебе нельзя!

— Где он? — Вскочила, худющая, в теплом халате Николая Васильевича, в сером своем платке. — Скажи мне, где он?

— Лидочка, он обещался сегодня прийти… Хотел тебя видеть…

— Меня? — Раскашлялась. — Да разве меня можно показывать?

Закуталась в платок, подошла к окну. И тут же отшатнулась. Обернулась к Лизе, шепотом:

— Открой ему…

* * *

— Откуда ж он взялся?

— Вот этого, Аня, я тебе не скажу, потому что са-

ма не знаю. Все как в тумане. Откуда взялся, куда делся, на похоронах его не было, ничего не знаю. Я ему открыла, а сама забилась в детскую, носу не высунула! Через полчаса слышу: входная дверь хлопнула, значит, думаю, ушел. Вхожу к Лиде. Лежит с закрытыми глазами, лицо — огненное, вся полыхает.

— Ну, сестрички! Хороши обе! Вот уж не думала я, что в такое время…

— В такое время! Умирающая! Она мне говорит: «Я сама Коле скажу, ты не вмешивайся». — «Что ты ему скажешь, Лида, зачем?» — «Я скажу, что он приходил, и мы попрощались. Больше не придет». — «Откуда ты знаешь?» — «Он уезжает. А даже если бы и остался, все равно бы не пришел. Я не велела». Голос убитый. Я говорю: «Лида, Коля хотел, чтобы мы тебе праздник устроили, я Асеева позвала, на пирог. Не говори хоть сегодня, Лидка!» Мотает головой: «Не бойся, я после пирога скажу».

— И сказала?

— А как же!

Николай Васильевич пришел — веселый. Савелия дома не было. Печь горела хорошо, ярко. Лида поднялась, сменила халат на лиловое, довоенное еще платье. Худенькая, стройная, как девочка.

Сели вчетвером за стол. Асеев преподнес Лиде носки деревенской вязки, большую плитку английского шоколада. Поставил на стол бутылку спирта. Николай Васильевич развел руками:

— Ну, роскошь! Девчонкам моим пить нельзя, так что мы с вами, Костя, эту роскошь вдвоем и прикончим.

— Николай Васильевич, — торжественно сказал Асеев, — а я ведь свататься пришел.

Лиза подскочила:

— Ой, не надо!

— Лиза думает, что сейчас не время, — не обращая внимания, продолжал тот, — пока Лидия Антоновна не поправилась. Но я у вас ее не отбираю, Лидия Антоновна, я руки прошу.

— Слава богу, — просто сказал Николай Васильевич, — выпьем — и в добрый час! За твое рожденье, Лидочка! А потом за вас. В добрый час, я рад.

Сидели далеко за полночь. Николай Васильевич выпил, размяк, глаза блестели, в бороде — крошки ржаного пирога. Лида улыбалась через силу, кашляла редко, но видно было, что слаба, превозмогает себя.

— Как вы думаете, Костя, — бормотал Николай Васильевич, — выживем мы? Или нас сожрут?

— Сожрут, наверное, — ответил Асеев. — Во всяком случае, громогласно объявят, что сожрали. Тут мы сами себя доедим, потому что ничего другого не останется.

— Подождите, подождите, — жалобно сказал Николай Васильевич, — это что-то мудрено! Ну, скажем, половину убьют, это ясно. Они уж крови хлебнули — вкусно! Им понравилось! Это я понимаю! Ну еще какая-то часть сбежит, осядет где-нибудь, у черта на рогах! Это уже другая история. Но оставшаяся-то горсточка? Вот таких, как мы с вами? С бабами, с этими, с барышнями, с детьми? — Взял Лидину прозрачную руку, поцеловал, провел ею по своей щеке. — С нами-то что будет, Костя?

— Как в Евангелии сказано? — тихо, с недоумением, произнес Асеев. — Помните, Николай Васильевич? Я вон давеча заснуть не мог, перечитывал апостола Павла. Не понимаю! То есть слова слышу, а душа не понимает! «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». А потом знаете что? «Если враг твой голоден, накорми его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья».

— Я поняла, поняла, — вдруг вскричала Лиза, —

я поняла, Коля! Это значит, что не мы должны судить тех, кто мучает нас и убивает, потому что это не наше дело, а Божье! Это Он их судить будет. Своим судом, не нашим, не людским! А мы должны прежде всего свою душу спасать! Каждый должен свою душу спасать, потому что, если и мы начнем мстить, зла только прибавится! И тогда все, все погибнут! «Не будь побежден злом, — прошептала Лида, кутаясь в платок, — а побеждай зло добром». Разве не все в этом?

* * *

— Я, Аня, Колю никогда пьяным не видела. Лида мне как-то, давно еще, говорила, что он по молодости любил выпить, в студенчестве. Но, как женился, капли в рот не брал, можешь мне поверить. А тут мы засиделись, они с Костей бутылку эту вдвоем вылакали. Моему-то ничего, ни в одном глазу, а Колю развезло. Отправились спать. Костю оставили в маленькой гостиной, ходить по ночам в городе нельзя было, патрули. Только легли — крик! Николай Васильевич кричит! Я вскочила, бегу к ним в спальню. Ужас! Она ему, сумасшедшая, все рассказала! Нашла время!

* * *

— Подожди, Коля, не засыпай! Я тебе должна рассказать…

— Завтра расскажешь, голубка, ложись…

— Коля! Сегодня ко мне приходил… Днем, когда тебя не было…

— Что-о-о? — зарычал он, вскакивая. — Как, то есть, приходил? Куда приходил?

Она закрыла лицо руками, сжалась под серым платком.

— Коленька, он… он ведь проститься приходил…

— Проститься? — сипло, вдруг пропавшим голосом переспросил Николай Васильевич и пошатнулся. — Это с кем же он приходил проститься? С полюбовницей своей, с сожительницей? Хорош гусь! А где же он был раньше, голубь заморский? Да я, я тебя убью, дрянь! Вон отсюда! — Он с силой сдернул с нее платок, оголив мраморно-белое, худое плечо. — Вон, я кому говорю!

Лиза вбежала в комнату, бросилась к Лиде, обхватила ее обеими руками.

— Прочь! — грохотал Николай Васильевич, широко раскрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. — Оставь ее! Знать вас не желаю! Обе

убирайтесь, обе! Проститься он, видите ли, приходил! Он у меня попрощается!

— Коля, — разрыдалась Лиза, трясясь, — Коля, как тебе не стыдно?!

— Мне? — задохнулся Николай Васильевич. — Мне должно быть стыдно? У меня жена проститутка, и мне — стыдиться?

— Как ты смеешь? — срывая голос, прокричала Лиза. — Как ты…

Лида вдруг встала, медленно отвела Лизины руки и вплотную подошла к Николаю Васильевичу.

— Жалко тебе, что я не умерла? — сказала она еле слышно. — Не бойся, ждать недолго. Ты же меня не простил! Смерти мне желаешь, потому что не знаешь, что со мной делать, если я вдруг поправлюсь? Ну, скажи: что?

— А ты? — выдохнул он. — Ты кого-нибудь, кроме себя, любила? Ты обо мне хоть раз вспомнила?

— Выпусти меня отсюда! — Лида оттолкнула его. — Я ухожу!

— Куда-а-а? — прокричал Николай Васильевич. — Куда ты уходишь? Кому ты нужна, кроме меня?

Она опустилась на синюю скамеечку у погас-

шей печи. Лицо ее огненно вспыхнуло и тут же посерело. Николай Васильевич всмотрелся.

— Лида, — изменившимся, прежним своим голосом, спросил он, — что с тобой?

Она наклонилась вперед и опустилась на пол.

— Лиза! — закричал Николай Васильевич, подхватывая ее. — Лиза! Быстро — шприц! Быстрее! Ей плохо!

* * *

— Когда же она умерла?

— В начале марта. Второго. И моя, — смотрит на мамину фотографию, — тоже в марте, восьмого. Проклятый месяц, проклятый.

— Мучилась?

— Кто?

— Лида.

— Задыхалась. Дышать нечем было. Коля от нее не отходил. В последний день мы сидели у ее кровати, она уже без сознания была. Агония. Дышала так, никогда не забуду. Вздохнет и затихнет. Каждый раз казалось, что это уже все, последний вздох. А она опять — с мукой, со свистом… Не приведи бог! Коля мне говорит: «Выйди, я хочу один с ней быть». Я расплакалась: «Можно останусь?» Тут Лида задрожала вся, забилась и словно при-

встать хочет. Он сказал: «Все, кончается, возьми ее за руку». Я за одну руку взяла, он — за другую. Она вздохнула, выдохнула. И все.

Затягивается «Беломором», вытирает глаза.

Николку привели в церковь. Худенький, кудрявый, на нее похож. Открыли гроб. Лежит спокойная. Ну что говорить! Хорошо хоть похоронили по-человечески! Тогда уж и отпевать-то боялись, большевики ведь…

* * *

…Я часто вижу ее во сне, очень часто. Несколько раз мне снилось, что я уехала, а ее оставила. Тогда же, во сне, я начинаю вспоминать, как это было: больница, палата на двенадцать человек, медсестра Валечка, шоколадки, трехрублевки.

Лежит у окна с закрытыми глазами.

Наклоняюсь:

— Бабулечка!

Не отвечает, не слышит.

— Ну посмотри на меня!

Открывает измученные, под мутной белой пленкой, глаза.

— Бабулечка!

— Как тебя зовут? — шепчет она с трудом.

Во сне я пытаюсь понять, где правда? Неужели

я уехала и бросила ее? Да нет же. Почему этот ужас преследует меня?

Она умерла, шел дождь со снегом, у мальчика моего был коклюш. Две недели после ее похорон мы жили не в своей квартире, а в центре, у мамы моего мужа, напротив кинотеатра «Повторка».

Вернулись домой, и я попросила вынести на улицу огромное красное кресло, в котором она сидела целыми днями, пока ее не забрали в больницу…

* * *

Сизый махорочный дым стоял в весеннем воздухе. Бабы с мешками, подростки, грудные дети на руках, солдаты на костылях — все это жаркое, громкое человеческое месиво до отказа забивало перрон.

— Сейчас будут впускать в вагоны, — сказал он, нервничая и крепко обнимая ее, — как ты доберешься в этом аду!

— Не бойся, Костя, доберусь. — Она, не отрываясь, смотрела ему в лицо красными глазами. — Умоляю тебя, приезжай скорее!

— Ни минуты не задержусь. Все время буду наведываться к Николаю Васильевичу, о Николке не беспокойся, Лиза!

— Что? — Смотрит, не отрываясь. Сколько ночей не спала. Глаза воспаленные, нос заострился.

— Ненаглядная моя. Береги себя.

— И ты себя. Дай я тебя перекрещу. Прощай.

— Телеграфируй сразу же, слышишь?

— Костя!

— Не плачь, не плачь, ну что ты, дурочка моя маленькая? Я же приеду!

Поезд шел медленно, часто останавливался. Мысли путались. Она поправляла под головой скатывающийся вещмешок, крепко зажмуривалась.

В день Лидиных похорон шел крупный веселый снег. Опускался на открытое Лидино лицо и не таял. Вот ужас-то.

— Николай Васильевич, гроб пора закрывать. Вы слышите, Николай Васильевич!

Отмахивается. Стоит, без шапки, седой, взъерошенный, прижимает к себе Николку.

— Прощайся с мамой, Николка! Не бойся!

* * *

А я как скажу маме? Нашей маме? Как произнесу?

* * *

В подвале их бывшего дома на бывшей Большой Дворянской было холодно. Сидели на отцовской, аккуратно застеленной постели: Лиза, мама, Саша. Няня за столом. Мама тихо плакала.

— Лиза, иди поешь, — негромко позвала няня, — тощая стала, не приведи бог!

Ест с жадностью. Няня рассказывает:

— Муся себе жениха завела. Большевик. Из гимназии выгнали, шлялся тут. Ну и прибился к этим. Девку жалко. Ушастый, страшный. Чего в нем нашла?

В субботу втроем пошли в баню: Муся, Лиза и Таня Бабанина, губернаторская дочка. Родители, слава богу, успели умереть накануне семнадцатого, Таня в анкетах на вопрос о происхождении писала: «отец — дворник».

Разделись. Сели на лавку.

— Сидим в чем мать родила, смотрим друг на друга и смеемся. Ну страшны, ну худы! Обстрижены, как дьячки. Без слез не взглянешь!

— Так что вы смеялись-то?

— Да молодые были! Молодые были, Аня, вот и смеялись! Я говорю: «Муська, помнишь, как мы в Большой ходили? Я с Лидкиной песцовой муф-

той была? Конфеты помнишь, которые швейцар отобрал?»

— Какие конфеты?

— Сидим мы на галерке в тринадцатом году и видим: входят в правую ложу дама с кавалером. Красавцы! Она в боа белом, вся в бриллиантах. Он перед ней коробку конфет — хлоп! На красный бархат! Раскрыл. Огромная коробка. Шоколад. Она взяла одну конфетку, взяла вторую, послушали пол-акта, зевнули и ушли. Коробка осталась. Я Муське говорю: «Антракт будет — мы возьмем». Антракт. Мы в ложу в эту, пустую. Только свет зажгли. Муська — на корточки, чтобы ее не увидели, и тянет руку к коробке. И тут сзади бас, как у Шаляпина: «Э-э, нет, барышня, это мне». Швейцар! Муська от стыда так на корточках и осталась! А ананас у Елисеевского? Еще лучше!

— Какой ананас?

— На спор. Мы с Муськой поспорили, что она из Елисеевского ананас вынесет. Просто так, из хулиганства. А там приказчиков видимо-невидимо! Особо не вынесешь! Ждем час, ждем другой, пока приказчик отвернется, а тот как назло: «Чем могу служить, барышни?» Глаз с нас не сводит.

— Ну, вынесла?

— Вынесла. Она ему, я думаю, надоела просто,

он и отвернулся. Муська ананас в муфту и на улицу! Стоим, хохочем, чуть не описались! Пришли домой, разрезали, а он — кислей лимона! Несъедобный!

— Мусенька, ты одурела: за коммуниста идти! А венчаться он будет?

Голая Муся качает головой:

— Он же неверующий… Им нельзя венчаться.

— Да зачем он тебе?

— Я его полюбила, Лизочка! Он из такой несчастной семьи, он не виноват! Отец пил горькую, семь человек детей! Ну сама подумай! Конечно, он пошел в революцию! Революция его освободила!

— Чего-о-о? От кого она его освободила?

— Ну как… Они же бедные были, нуждались…

— А если бы мой отец пил горькую, мы что, богатыми бы были?

— Не знаю, Лиза, он мне так объяснил…

* * *

— Мы, Аня, в ту весну всю крапиву в городском саду съели. Суп из нее варили. Ржаные зерна растирали, варили кашу. Все, что могли, на еду меняли. Саша болел, с работы его поперли, я машинисткой устроилась. Там хоть паек давали. Лялька Головкина там со мной работала. У

няни ревматизм начался, еле ходила. Каждый день я ждала Костю. И дождалась. Сижу у нас в тресте на лестничном подоконнике, закуриваю. Самокрутку, знаешь? Она рассыпается. Вдруг внизу слышу: дверь вжж-и-к! Не знаю как, а сразу поняла, кто это. Шаги узнала. Взлетел одним махом. С кожаным баулом, больше ничего не было. Обвенчались мы на следующий день. А через год девочка наша родилась…

* * *

Концерт в Линнской синагоге, вечер русского романса. За окном — синий кусок океана, запах гниющих водорослей… Чайки…

Ноябрь — декабрь 2000 г.

Мария Метлицкая
Ассоциации, или Жизнь женщины

И как возникает, на уровне подсознания, что ли, эта сильная память сердца и души — воспоминания? То, чего у нас точно никто не сможет отнять. Что точно — только наше. И странно, но с годами яснее и четче вспоминаешь о чем-то хорошем — какая-то защита памяти, что ли, да нет, плохое тоже не забыто, но, слава богу, как-то стоит вторым рядом. Хотя, справедливости ради, помню все.

Сначала визуальные: какие-то места в Москве, такие привычные и родные (хотя как варварски их пытаются сегодня изменить!). Вот здесь я бродила со своим первым мальчиком, вот здесь до одури целовалась, а здесь, здесь мы так яростно и отчаянно ссорились. Здесь прощалась навсегда с близкой подругой, а здесь, в этом доме, были самые бессонные и трепетные ночи в моей жизни. А отсюда я вышла на свет Божий, держа в руках сверток с сыном — конверт с голубыми шелковыми лентами.

А музыка? А самые острые воспоминания — запахи? Теплый подмосковный дождь — это точно запах детства, перрон, сосны. Вдох глубокий-глубокий. Да, это дача. Юная и беспечная дачная жизнь — мальчишки, велосипеды, гитары, речка, сено, стук сердца где-то в горле. Все это — ощущение абсолютного счастья и того, что все еще впереди.

Это еще нестарая и крепкая бабушка, державшая на своих плечах большую семью, ее обеды, которые я торопливо проглатывала, потому что мне надо бежать, да просто некогда мне, и все. Дача — это маленькая сестра и постоянный страх за нее, так сильно я ее люблю. Это выходные и мама с папой с сумками вкусностей. Мы с сестрой часами встречали родителей на дороге, держась за руки.

Это совсем еще молодые и здоровые родители. Выпускной — начало огромной, прекрасной и пугающей жизни. В мусор — старую, ненавистную школьную форму вместе со школьной опостылевшей жизнью. Весь мир у моих ног! И все главное впереди. И еще песня: «Прощай и ничего не обещай…», которую ночью мы орем во все глотки и все равно обещаем друг другу, обещаем. И эта песня тоже на всю жизнь: мой выпускной и моя

многообещающая юность.

А зеленое шифоновое платье с розовой вышивкой — это свадьба, и я — невеста и красавица. И полное счастье, потому что я — по уши влюблена. И именно в таком состоянии я собираюсь прожить всю оставшуюся жизнь. Но… Не вышло.

А крошечная желтая распашонка с утятами и клеенчатые бирочки с почти стершимися буквами? И красная пластмассовая рыбка — то, что ты просто не смог сломать, сынок, мой бородатый, мускулистый взрослый мальчик? Это — из твоего детства, а значит, самое главное из моей жизни.

Запах терпкого одеколона и сирени, запах моей тайной любви и тайных, торопливых свиданий. Мои лучшие стихи и мои самые большие выдумки. Наши вороватые ночи и запретные ласки. Моя самая большая любовь!

Но когда-нибудь, когда-нибудь неизбежно уйду я, и уйдут вместе со мной мои воспоминания, все мои ассоциации, весь мой мирок — со всеми вытекающими, нужными мне и ненужными остальным подробностями. Моими мыслями, переживаниями, так разрушающими меня и впоследствии, как правило, кажущимися и мне самой нелепыми и смешными, моими чувствами, страхами, тоской, желанием что-то изменить

в жизни и в себе самой — и почти всегда оставшимися лишь мечтами. Моими комплексами, обидами, моей злопамятностью — или этим страдают все женщины? Моим постоянным недовольством собой и рутиной. И мысль, что я все-таки состоялась, пройдя самый важный и тяжкий путь на земле — матери и жены. Надеюсь, что я исполнила его хотя бы на четверку.

И уйдут вместе со мной мои сомнения и желания, отложенные в долгий ящик и так и не сделанные дела. И уйдет то, что я просто не успела, — неувиденные страны и города, непрочитанные книги, ненадетые наряды, непосаженные цветы. Несказанные добрые и мудрые слова, несовершенные яркие и просто хорошие поступки. И то странное чувство, что я не всему научила сына, не все отдала матери, не все сказала мужу, не обняла сестру, не объяснила подругам, как много они для меня значат. Я так много не успела, оказывается!

Господи, а что же я делала всю свою жизнь? Ведь у меня было достаточно времени! Как нудно и тщательно я вываривалась в собственном соку — хлопот, болезней, обид, пустых усердий и прочей колготни. Как много потратила я на это сил. А самое важное? Успела ли я сделать это?

И что это — самое важное? Неужели я все-таки этого не поняла? Господи, куда меня занесло, а начиналось ведь так трогательно — воспоминания. И вот ведь в какие дебри! И еще: я часто рассматриваю фотографии каких-то уже совсем далеких предков или просто случайных незнакомых людей, где на коричневых картонках стоят либо сидят стройные или не очень, но точно подтянутые люди, непременно в «позах» (тогда ведь не было случайных фотографий), и долго и внимательно вглядываюсь в их лица. Тогда не заставали людей «невпопад». Тогда они вовсю контролировали «выражение лица». А глаза? Вот глаза… Вглядываясь в эти лица, я вижу усталые или встревоженные глаза и обеспокоенность, напряжение, тоску чаще, чем вольную радость, ей-богу, чаще. И размышляю о том, что вот уже несколько десятков лет нет ни их самих, ни даже их внуков, нет ни забот, ни болезней, ни тягот. Ведь все это было очень давно, между прочим, в позапрошлом веке. Исчезли они, а вместе с ними их мир — тревожный и прекрасный. И можно долго размышлять и фантазировать, глядя на эти портреты.

Или вот, кстати, в руках у меня оказалась (это про ассоциации) известная уже столько десятков

лет толстенная книга Елены Молоховец, конечно, переизданная. Листая ее вечером на любимой даче, в кресле, под оранжевым абажуром, я подумала: ох какая обстоятельная девушка была эта Молоховец! Как старалась все учесть, во все уголки и закутки быта заглянула, чтобы облегчить жизнь молодым да нерадивым. И наверняка помогала. Не сомневаюсь. Такой популярной и настольной была ее книга в те годы, думаю, зачитывали до дыр. И что-то завертелось в голове, выстроилось, и вот что из этого получилось.

Итак, прошла, прошелестела свадьба, скромненько, без особой помпы, да и к чему? Женился человек солидный, вдовец, чиновник, имеющий собственный небольшой дом на Пречистенке и прибыльное поместьице в Смоленской губернии. Первая жена, царствие ей небесное, скончалась первыми родами, завершившимися очень печально — младенчик тоже не выжил. Год отходив в трауре, господин N (назовем его так) девицу берет уже крепкую, полноватую и рослую, не в пример худосочной, с темноватой кожей и впалыми испуганными глазами первой жене.

Вот теперь-то, задним умом, он думает о том, что не была здорова его первая супружница, да упокоится душа ее!

Вторая невеста рыжеволоса чуть-чуть и самую милую малость конопата. Она из семьи очень среднего достатка, в чем тоже есть свой резон: не избалована. Скромна, стеснительна, легко краснеет, мило теребит края шали и приятным движением поправляет гребень с перламутром в тяжеловатых, слегка вьющихся медных волосах. Итак, свадьба проходит спокойно и чинно, без излишеств, но сытно. Хотя тещу сразу осадили — уж больно много хотела заказать к столу икры и белорыбицы. Да и вообще теща его уже порядком раздражала, на его расчетливость недовольно поджимала губы и, кажется, делала первые выводы.

Впрочем, и он свои выводы сделал: maman привлекать к дому как можно меньше, пусть будет и этому рада, ведь, положа руку на сердце, не так уж чтобы очередь стояла просить руки ее дочери. На свадьбу он дарит невесте сапфировый браслет покойницы жены, она как-то это чувствует и горько и безутешно плачет, плачет всю ночь перед свадьбой, а утром, глядя на ее припухшие глаза, все решают, что так она прощалась со своим девичеством, и… умиляются.

После свадьбы она входит в мужнин дом, где ей все ново и чуждо, где еще пахнет другой жен-

щиной, где она иногда находит то булавку, то шпильку и быстро бросает их, словно это гусеница. После первой ночи она боится смотреть на мужа и не хочет выходить к завтраку, притворяется, что долго спит. А он зовет ее и твердым голосом просит, чтобы к завтраку она пусть неприбранная, пусть в капоте, но выходила — таково его желание. Она заливается краской и кивает, рассеянно пьет кофе, крошит булочку и почти не слышит, что он ей говорит. Хотя, справедливости ради, ничего плохого и тем более страшного той ночью не было, да и противного тоже. Но вспоминать ей почему-то все равно этого не хочется.

Муж уходит на службу, и она остается одна в двухэтажном семикомнатном доме, где живет еще его, мужа, больная сестра, не выходящая из своей комнаты-закута с узким и темным окном, смотрящим на дровяной сарай. Еду ей носят в комнату. Стрижет и моет ее неряшливая горничная с мышиным и вороватым лицом.

— Она не будет тебе докучать, она у нас тихонькая, — предупредил об убогой родственнице муж перед свадьбой.

Еще в доме есть грубоватая, с насмешливым взглядом кухарка, служившая еще при прежней

хозяйке. Она заходит и с усмешкой на толстых губах спрашивает у молодой барыни, что приготовить на обед. Барыня опять краснеет и теряется.

— А что барин любит? — смущенно спрашивает она. — Вам-то виднее.

Кухарка усмехается и понимает, что остается здесь хозяйкой навсегда. Это ее, видимо, вполне устраивает, и, тяжело ступая, она уходит на кухню рубить петуха. Вздыхая, молодая жена оглядывает столовую, где они только что пили кофе, и замечает, как плохо вымыто окно, как много пыли на тяжелых, местами заштопанных и выгоревших портьерах, замечает потертый, с большим пятном ковер, и старые выцветшие обои, и пыль на мрачноватых картинах, и щербатые чашки. И это ей все не нравится. Ох как не нравится.

Она потихоньку обследует дом и в первой же комнате, под лестницей, думая, что это кладовая, видит недоразвитую сестрицу, свою золовку. Та, бедная, испуганно забивается в угол, и лицо ее видно плохо, свет тусклый, воздух смрадный, посреди каморки стоит ночной горшок без крышки, а на столе — остатки пирога, засохшие корки и немытая чашка. И запах, запах тлена, плесени, болезни и безумия. Кошмар. Она быстро захло-

пывает дверь, поднимается в спальню, садится на пуфик и опять начинает безудержно и горько рыдать. Ей кажется, что почему-то попала она в плен и что скоро сама превратится в безумную. И клянет свою неудавшуюся жизнь, которую она представляла как-то совсем иначе.

В тоске она оглядывает комнату и почти явственно ощущает присутствие и запах той женщины, первой жены, скончавшейся так недавно. И опять начинает плакать.

Но днем заезжает maman, придирчиво оглядывает дочь, хмурится, ей тоже как-то все не очень нравится, сует нос в кухню, приподнимает крышки кастрюль и чугунов, резким словом ставит кухарку на место, грозит пальцем горничной с мышиным лицом. Осеняет крестом дочь и, тяжело вздохнув, уезжает — у нее визиты, магазины, да и вообще дел невпроворот.

— Да, душа моя, — говорит она уже у пролетки, — чуть не забыла, это тебе. Развлекись, да и ума наберись. Разумнейшая вещь для таких вот, как ты, молодых и неопытных дам. Мне-то это уже ни к чему. — И протягивает дочери толстенную книгу: Елена Молоховец. «Подарок молодым хозяйкам». — Ну, с Богом, и хватит, пожалуй, уже рыдать.

И, отъезжая, расстроенно думает: ничего, пройдет, это у всех бывает, через неделю-другую пройдет, успокаивает она себя. Почти наверняка зная, что так и будет. Почти наверняка.

А еще позже, к вечеру, заскочила, именно заскочила на полчаса на чашку чая любимая кузина — легкая, с тонкой талией, в модных туалетах и облаке последних ароматов Парижа. С самыми последними сплетнями и таинственными рассказами о себе. Она слушала ее затаив дыхание, и гулко стучало сердце. Грустно подумалось, что у нее никогда не будет такой тонкой талии и загадочных и волнующих историй. Кузина улетела. А она, промаявшись, легла спать — не ко времени, вечером. Сон к ней не шел. Опухло лицо, и разболелась голова.

К приезду мужа заново причесалась, брызнула духами, надела длинные серьги с изумрудами — подарок матери к свадьбе. Муж пришел усталый, недовольный, взглянул на нее мельком и спросил: «К чему такой парад?» Губы задрожали, он увидел это, слегка смягчился и за ужином был опять приветлив. Потом долго читал газеты, пил чай и уснул на оттоманке в столовой.

Именно так, в пыли портьер, под жужжание полусонных мух и ворчание усатой кухарки, без-

радостно и монотонно протекали дни ее жизни. Из развлечений — редкие гости по субботам: муж не любитель компаний; иногда, крайне редко, выход в театр — а в театре он опять уснул и даже слегка всхрапнул, и она не знала, куда деться от стыда. Какой уж с ним театр! По средам ездила к maman, обедала — это был хороший день. По пятницам муж играл у соседа в бридж, и она всю ночь не спала и нервничала: а вдруг проиграется?

Но постепенно жизнь не то чтобы наладилась и обрела смысл, а стала привычной. Она почти перестала плакать и как-то смирилась. Пока однажды случайно не наткнулась на подарок maman — ту самую толстенную книгу «Подарок молодым хозяйкам». Присела в кресле, захрустела яблоком и… И с каждой страницей стала отчетливее понимать, что живет пусто и зря, не интересуясь главным — своим домом и семьей, почти наплевав на все это. Ладно была бы дамой светской, как, скажем, кузина, у которой весь смысл жизни в романах и нарядах, а у нее жизнь протекает, и ладно. И все не так и не то. Как-то непростительно и глупо, непозволительно так пусто жить! А муж — он просто должен бы был запрезирать ее за такую леность.

Взяв карандаш и блокнотик, стала она подчер-

кивать и выписывать то, что посчитала важным и главным, — и рецепты, и по части экономии, и про запасы и хранение, и все по части дома и сада, и как с прислугой управляться, и целый, огромный список дел и правил вывела. И распорядок образовался, и планы наметились, и оказалось, что у нее дел невпроворот, только успевай — где уж тут скучать и томиться.

Как-то вечером она завела робкий разговор с мужем, поймав его в добром настроении — о переустройстве дома, дескать, все старое, ветхое, латаное. Он отмахнулся — дорого, поди. А она ему так ловко бумажечку под нос: и про то, и про это, и где что почем и по сколько. Это — там купить, а это — здесь выгода. И совсем-совсем недорого.

— Ну, как тебе, милый?

Он, будучи человеком практичным, удивился такой работе, заинтересовался, нацепил очки на нос — и деньги выделил (без особой, правда, радости).

И закипела работа! Началась жизнь — кончилось сонное царство. Славься, великая Молоховец, на дело сподвигшая нас!

Сдирали старые шторы — пыль столбом, срывали обои — летели семейства клопов, выкидывали битые кастрюли и плошки, трудились хитрые и

вороватые халтурщики (во все времена). А она, подбоченясь, зарозовев, руководила, покрикивала, почти не отпускала извозчика — то туда съездить, то это присмотреть. Ожила. В доме был кавардак, но глаза ее горели, и она уже вовсю распоряжалась кухаркой и «мышиной» горничной, и те покорно слушали, признав в ней наконец хозяйку.

Несчастную больную сестру мужа из тухлой каморки милостиво вытащила, сообразив ей другую комнату с окном и видом на цветущий жасмин, а в той, холодной и темной, каморке соорудили кладовую. Спальню сделали в голубых тонах, столовую — в солнечных желтоватых. И никаких темных и тяжелых штор — легкий шелк, настоящий китайский, с прозрачными бабочками. Чуть-чуть за смету вышла, но муж ничего не сказал.

После созвали гостей — все ею восхищались, и мужу было приятно, и maman умилялась ее талантам. На базар теперь ходила с кухаркой вместе, разбираясь в мясе (слава тебе, Молоховец) лучше любого мясника: что на котлеты, а что на жаркое, а что на первое. Какую курицу взять на бульон, а какую потушить. Придирчиво осматривала творог, нюхала сметану, проверяла

на истинность мед. И всему, всему этому учила ее верная подруга и наперсница — Молоховец.

Остатки теперь у нее не пропадали. Делали масло с рябчиком на завтрак из остатков рябчика и масло с селедкой, из отварного супового мяса лепили пирожки, корка от окорока шла в гороховый суп. И даже из оставшейся от завтрака манной каши к вечернему чаю пекли оладьи, а из арбузных и дынных корок варили цукаты. На сухих черных корках настаивали квас — на летнюю окрошку, из опавших яблок изготовляли уксус.

Корицу теперь они просушивали и толкли с сахаром, и горчицу в майонез растирали под ее приглядом. Кофе жарили и мололи столько, сколько нужно на один раз. По списку, тщательно проследив, закупалась вся посуда для кухни и столовой — сервизы, противни, сковородки, сотейники и вертела, медные тазики для варенья и рашперы для бифштексов, и вафельницы, и совок для муки, и формочки для заливных и желе, и формы для пудингов на водяной бане, и формы для пудингов, запекаемых в духовке, и формы для паштетов, и формочки для фигурного нарезания кореньев, и большое деревянное волосяное сито, чтобы сеять муку, и маленькое ситечко для просеивания сахара… И большое деревянное решето,

перетирать творог и яблоки, и резец для обрезки хвороста и вареников, и венчик для взбивания белков, сливок и мусса, и мельницы для перца, и жаровня для кофе, и мороженица, и сечка, чтобы рубить капусту, и деревянная дощечка для чистки селедки, и лопаточки для размешивания подлив, и кисточка для смазывания пирогов и булок яйцом, и металлическая шпиговка для жаркого… Ступки с пестиком. Весы. Воронки. Этажерки для раков. Бумажные папильотки для пожарских котлет. Наборы емкостей для уксуса, оливкового масла и горчицы. Графины для водки и воды, для пива — с высокими стаканами. Столовые и чайные сервизы. Столовые щетки для сметания крошек со стола с небольшим подносиком. Et cetera.

О Молоховец! Ты учишь нас жить. Ты не просто навязчиво учишь, ты тактично поучаешь и наставляешь. Учишь быть экономными и разумными. Падаем ниц. Занавес.

Обновив дом за небольшие и очень разумные деньги (и получив превосходный результат), она так же лихо занялась садом, выписала журналы по благоустройству и садоводству, добавила фантазии… И сделала милые клумбы из флоксов, тюльпанов и георгинов, изничтожив на корню

простонародную мальву.

Теперь ей дня не хватало. А впереди были август и заготовки на зиму. И тут она почувствовала, что происходит с ней что-то не то. Устала, наверное. Но maman засомневалась, а доктор подтвердил. Муж умилился.

— Хорошо, будешь ходить зимой, летом тебе тяжело, ты грузная.

Узнав об этой новости, кузина сморщила носик — она жила другими категориями. Беременность переносила тяжело, живот был огромный, ноги опухали, последние недели лежала и страшно боялась умереть родами. Но все, слава богу, обошлось. Родила она девочку, крупную, рыхловатую и рыжую — словом, свою копию. Муж перед родами страшно нервничал и сильно напился у соседа, сел играть и здорово проигрался. С нервов и испугу, как объяснил потом.

И понеслась ее жизнь скорым галопом — дом, хозяйство, муж и дитя. Дитя — главное. Девочка была неспокойной, ночью не спала, и она все прислушивалась и бежала в детскую. Няня няней…

Весна пришла медленно и запоздало, по-московски, а к лету решила по совету доктора ехать в имение мужа. Черт-те куда. Именьице небольшое, дела, как отписывал управляющий, уже

шли плоховато. Муж туда не наезжал. Двинулись большим обозом — муж, няня, горничная.

Имение и вправду оказалось в ужасном виде. Еще в худшем, чем представлялось. Управляющего рассчитала в три дня; муж в этом не участвовал и, побыв неделю, поспешил в Москву — служба.

Он уехал, и началась работа, началась жизнь. Все мыли, скребли, оттирали, красили, подбивали, обрезали старый сад, посыпали гравием дорожки, обновляли клумбы. Она писала матери в Москву — прислать то, это — здесь все сгодится. Вила гнездо. Девочка стала спокойнее, спала лучше, золотуха прошла, начала улыбаться. Первые зубки, первые шажки — все в деревне. А тут пошли и ягоды, и овощи. И вытащила она на свет божий свою уже потрепанную подругу, потертую, помятую слегка, в пятнах масла и ягод, хранившую между строк запах корицы и ванили. А ну помогай! И та помогает.

И варили варенец с серебряной закваской из парного молока, и делали крем из брусники со взбитыми сливками — к вечернему кофе, яблоки и сушили, и мочили, и варили из них пастилу, и делали мармелад из слив, и груши в меде, и вишни сушили и мариновали, а крыжовник шел на морс и опять же на пастилу, и сушили малину от

московских зимних простуд, и мочили бруснику.

А маринованный шиповник? А клубничное желе? А желе из черной смородины, а конфеты из красной? А рябина в сахаре? А киевское сухое варенье? А рыжики соленые и маринованные? А сушеные боровики? А соленые грузди и волнушки? А огурцы соленые — с горчицей и хреном? А заготовка кореньев на бульоны? Ничего не забыли?

Словом, не скучал никто. Все трудились весь светлый день, уставали, злились на хозяйку и уважали ее. В общем, отлетели лето и теплый сентябрь, и двинулся их сытый обоз к Москве. В Москве она нашла запустение в доме — естественно! Привела все в порядок, с мужем встретилась приветливо, но спокойно. Он, увидя плоды ее трудов, покачал головой, ну, ты, дескать, матушка! Зауважал. И подумал, что в этот раз не ошибся, не прогадал. И как почувствовал? Ведь обычная девица была, робкая, тихая, плаксивая, а какова оказалась! Удивлялся своей прозорливости и уму. Думал, в том его заслуга.

А она, обустроив все и расставив, съездила к maman и, поймав на себе жалостливый взгляд кузины, почувствовала себя провинциальной и убогой. Затосковала, разглядывала себя в зеркале

подолгу, видела, что все еще молода и волосы с медным отливом, и глаза зеленые, кожа белая. Утянулась потуже в корсет — вполне еще, вполне. Упросила мужа отпустить ее с maman и кузиной весной на воды (по женским, дескать, болезням). Муж легко согласился. Собиралась долго. Кузина — а опытнее человека и не найти — отвергала и те ее наряды, и эти. Решили, что купят на месте, а доедут уж как-нибудь.

На водах было общество. Целый день пили воду, слабило живот, слегка худели, по вечерам гуляли и набирали потерянное горячими яблочными штруделями. Кузина и там завела роман. А она, накупив с десяток платьев, не спала пару ночей — не привыкла так тратиться! А обувь, и сумочки, и духи! Maman одобряла:

— Вот теперь ты женщина, теперь ты дама! А то все коз пасешь в своей деревне.

Скучала по дочке и мужу, жалела потраченных денег, тяжело вздыхала и засыпала лишь под утро.

Возвращались радостно, с подарками, отдохнувшие, всех обняла — дочку, мужа. Все здоровы, слава богу. Смущенно показывала мужу наряды — он одобрительно кивал. Дома наконец стала крепко спать.

И снова лето, деревня, все то же, тот же ритм, только заезжает почаще и сидит подольше сосед-помещик. Пьет чай, молчит и подолгу ей смотрит в глаза. А она… она краснеет, как девица, и опять не спит. И нет рядом ни maman, ни кузины — и не с кем словом перемолвиться. И идет она на свидание с ним в беседку ночью (как банально!), и целует его, как никогда не целовала мужа, и наутро понимает, что погибла. Словом, случается с ней то, что случается с каждой женщиной хотя бы один раз в жизни наверняка.

И не знает она, бедная, что ей делать. На этот вопрос в ее любимой книге ответа нет. Но все решается, как всегда, само собой. Соседа вызывают спешные дела в Петербург, и она остается одна на территории их любви. Ходит кругами, и почти воет от тоски, и гладит рукой их скамейку, и целует курительную трубку, которую он позабыл, — это все, что у нее осталось от их любви. И плохо варятся варенья этим летом, и плохо солятся рыжики и маринуются огурцы. Молоховец была бы ею недовольна.

Но подошло время собираться домой, и она, бледная, измученная, с потускневшими волосами (это случается с медноволосыми людьми), возвращается в Москву. Молчит, слоняется по

дому, где все немило, все — тоска. Плачет, почти не ест, плохо спит — мается. Maman настаивает на докторах, муж расстроен и пожимает плечами, нагло ухмыляется «мышиная» горничная, невольная свидетельница ее тайной радости и скорой беды. Догадливая кузина щурит глаза и грозит изящным пальчиком, дескать, все, милая, с тобой ясно. А ей от этого не легче. И пьет микстуры, и кутается в шали, и слоняется без дела, на все наплевав. Запустила дом, дочку то прижмет к сердцу и рыдает, то скажет сухо: «Пойди к себе».

Ездит в церковь чаще прежнего. Так проходит зима. А к весне она вдруг начинает много спать и много есть. Пьет много кофе со сливками и ест пироги и сладкое. Припухает милое лицо и отекают ноги, а домочадцы радуются — оттаивает. Но и вправду к Пасхе она оглядывается и видит: дома запустение, грязь, паутина, посуда не чищена, муж не обихоженный и жалкий, — и берется за дело. К Пасхе все сверкает. Пекут куличи. Где ты, где, моя верная советчица, как я позабыла про тебя, уж ты-то точно не подскажешь ничего плохого? И делают пасхи — заварные и миндальные, сливочные и с фисташками, и красят яйца в лоскутах шелковой материи. И куличи пекут простые и с цукатами. И вновь советует

ей верная Молоховец, как придать сахару вкус апельсиновой цедры и запах флердоранжа, и еще как сделать сахар с ароматом кофе или ванили. Вдобавок пекут крендельки и штрудели с маком. И приходит Праздник!

А к маю ищет причину, чтобы не ехать в деревню, потому что больно. И судьба опять решает за нее: приходит письмо, что был пожар и дом сильно пострадал. Причину утаивают, естественно. Муж едет на место, возвращается расстроенный, восстановить нельзя, а надобно сносить, и опять нужны деньги, деньги, деньги… Они продают свое хозяйство соседу. Без выгоды, а что делать?

Тут она пугается того, что рада в душе, что так все вышло и что ей некуда больше ехать. И еще: что это наказание за ее грехи и (совсем уж образно) что это пепелище ее любви.

Потом выясняется, что она опять беременна, и доктор считает, что это кстати. Они с maman едут на лето к родне в Малороссию, погостить. Там видят, что дамы живут без особых хлопот, не бьются по хозяйству, гуляют, читают книги, выписывают журналы мод, земли их богаты, климат теплый, дети не болеют. Они купаются в широкой и теплой реке, едят сочные персики и груши бергамоты — и много смеются.

Вернулась здоровая, окрепшая, наладила хозяйство. Но тревожил муж — возвращался поздно, и коньяком от него пахло сильнее обычного, глаза воспаленные и беспокойные. В общем, вид хуже некуда. Ночью проснулась — в спальне его нет, вышла — сидит в столовой, курит. Сначала отнекивался, потом признался, что проигрался. Все деньги, вырученные за имение, да еще и из ее приданого. Долгов наделал, бессердечный. Плакал, целовал руки, стоял на коленях. Казнился. Ушла в кабинет — просидела до утра в горьких думах. К утру разболелся низ живота. Думала-гадала, как быть, и решила: дом продавать жалко, а вот сдавать его часть — разумно.

Обрадовалась, что так скоро к ней пришла такая хорошая мысль, разбудила мужа; он со сна мало что понял, только кивал и соглашался. Придерживая живот, прихрамывая (болит!), осмотрела дом, вызвала мастеровых — и закипела работа. Родственницу (а она все жила, бедняга) опять задвинули в чуланчик — ей-то уж все равно. Из комнаты с окном на флоксы сделали маленькую столовую, дальше — спальню и прихожую, еще отдельный вход. Квартирка получилась маленькая, но уютная. Решили сдавать с обедами семье без детей. Все — выход. И потихоньку отнесла она

в заклад и брошь с изумрудом, и браслет с сапфиром — подарок мужа, и серьги с бриллиантами — из приданого. Обратно за ними не вернулась. Бог со всем этим!

Сын родился раньше срока, но выжил и, конечно, был очень слабеньким. Но муж сына обожал, не спускал с рук, баловал, возлагал надежды. Да, между прочим, той осенью в спальне под креслом она нашла дамскую заколку, узнала ее — в точности такая была у кузины, — но скандал решила приберечь на «потом», заколку убрала, а затем о ней и вовсе забыла. Столько всего навалилось! Как-то, перебирая гардероб, наткнулась на те наряды, что купила на курорте, примерила — все, конечно, тесно, даже обувь, да и из моды уже вышло. Всплакнула, непонятно кого жалея сильнее — себя или выброшенных зря денег и неполученного удовольствия. Ботиночки отдала горничной, а платья отнесла в церковь. Рассматривая себя в зеркале, поджимала губы, видя, как по дням, по часам истекает ее женская прелесть и миловидность — тяжелеют ноги, опускаются груди и живот. А волосы, ее гордость, тоже редеют и тускнеют, и уже пробивается седина. А морщины?.. Да что говорить!.. И скоро перестала разглядывать себя в зеркале. Совсем.

Муж стал попивать, правда, дома — херес, ликер, коньячок. Она не переносила запаха и отделила его в кабинет. А он и не сопротивлялся. Но все-таки иногда еще мечталось, что будет полегче, поменьше забот и что они поедут надолго к морю — ведь дети так слабы, им так не полезен московский климат. И что съездит в Ревель к подруге, а в Варшаву перебралась ее крестная, и как бы хотелось повидаться с ней. И еще: очень хотелось на зиму теплую и легкую шубку, почти пальто, суконную, подбитую рыжей куницей — рыжий ей по-прежнему шел (на эту шубку она ходила любоваться на Кузнецкий). И хотелось опять обновить мебель и хоть изредка посещать модный «Славянский базар» — шикарный и вкусный. Мы не загадываем, мы мечтаем.

Но с каждым годом надежд оставалось все меньше, правда, сил и желаний — тоже. Да вот и болячки появились, и похоронила она maman, и стал болеть муж, и уже почти не вставал, надрывно кашляя по ночам. Дочка вышла замуж, и свадьба была не из пышных, а денег потратили много. Сын много курил, выпивал и играл в карты, и ей не нравились его друзья — пустые люди. А потом еще связался с актеркой и совсем пропал — страдал, мучился, а вместе с ним страдала и

мучилась она, ворочаясь и тяжело вздыхая по ночам. И только молилась, молилась. Уехал сын в Черногорию, спасаясь от несчастной любви. Да там и сгинул.

А потом она похоронила мужа и отослала горничную — к чему она ей?.. И осталась одна в доме — с усатой кухаркой. Теперь они делили на двоих свою скудную стариковскую жизнь.

Потом ушла и она — а вместе с ней и весь ее мир. В никуда, в никуда. И ушли вместе с ней ее несбывшиеся мечты, неосуществленные планы, неоправданные надежды, нерастраченные желания, загубленные чувства, нераскрытые тайны, непрожитые страсти, неувиденные города, несношенные шляпки с вуалью и без и пышные кружевные юбки… Да что там юбки! Вместе с ней ушли крохотные мгновения радости, скудные минуты счастья, да и тяжкие хлопоты, заботы, тревоги, унижения — в общем, все то, что составляет человеческую жизнь во все времена.

Вот уже и внуки перестали ходить на старое московское кладбище. Что говорить о правнуках — в их лицах ее черты совсем истончились, лишь иногда всплывали медноволосые и белолицые люди, сильные духом — или это не передается по наследству? И зарос неровный серый крупитча-

тый камень склизким мхом, так что и буквы не разберешь. Да и кому это надо? Кто туда ходит? И к чему все это? Да так, ассоциации, или просто жизнь женщины.

Ольга Карпович
Охота

В тесной темной прихожей старого кирпичного дома в одном из отдаленных районов Москвы пахло пудрой и лаком для волос. На полу под вешалкой, нагруженной ворохом доисторических драповых пальто, дремала кавказская овчарка, при каждом шорохе лениво приоткрывая один глаз. Слышно было, как на лестничной площадке устало бухает дверью древний лифт, тяжело спускаясь в затянутую сеткой шахту.

Женя Мальцева, стройная миловидная брюнетка двадцати шести лет, выскочила из комнаты в черных чулках и кружевной комбинации и стремглав бросилась к зеркалу, на ходу накручивая локон на щипцы для завивки. Шнур от щипцов волочился за ней по полу, и овчарка вальяжно проследила за ним взглядом.

Повертевшись перед зеркалом, Женя вдруг огорченно пискнула и, задрав ногу, придирчиво оглядела поехавший чулок. Удивительное невезение! Это ведь последняя пара. И надо же — именно сегодня, сейчас, когда она и так уже

опаздывает на важную встречу.

— Что случилось? — Из комнаты высунулся острый, увенчанный очками в тонкой металлической оправе нос Жениной матери Аллы Ивановны. — Чулок? Это ничего, это мы сейчас…

Она опустилась на корточки перед Женей и принялась старательно замазывать дырку лаком для ногтей.

— Ну мам, — недовольно протянула Женя. — Теперь он приклеился, как я его снимать буду?

— А зачем тебе его снимать? — вскинулась Алла Ивановна.

Тощая грудь ее под пожелтевшим кружевом блузки возмущенно вздымалась. Заслуженная деятельница культуры (попросту говоря, учительница музыки в соседней музшколе) готовилась произнести прочувствованную речь. Женя в предвкушении устало закатила глаза.

— Помнишь, как у классика? — вещала тем временем мамочка. — «Умри, но не давай поцелуя без любви!» Между прочим, прекрасное правило. И действенное! А на тех, кто чулки на первом свидании снимает, никогда никто не женится. А я так мечтаю, чтобы ты нашла хорошую партию… Ты ведь понимаешь, мы — люди искусства, поэтические натуры… Нам просто необходима

поддержка разумного, практичного человека…

Женя, стараясь не обращать внимания на материнские причитания, сосредоточенно красила ресницы. Мать и бабка прямо-таки спали и видели, как бы поскорее выдать единственную наследницу семейной благородной бедности замуж. Да не за кого-нибудь, а за «разумного, практичного человека», который и о семье молодой супруги сможет позаботиться.

Каждый появлявшийся на Женином горизонте мужчина подвергался строгому досмотру и контролю со стороны женсовета, и на свидание с одобренным кавалером ее собирали впоследствии всем семейством.

До сих пор, правда, ни один из ее романов так и не увенчался успехом, и место жениха все еще было вакантно, но мать с бабкой не теряли присутствия духа. Вот и на сегодняшнее свидание с Антоном возлагались большие надежды. Правда, этого претендента бдительные родственницы еще не видели, впрочем, как и сама Женя, но на сайте знакомств, где и состоялась их виртуальная встреча, Антон так убедительно расписывал подробности своего семейного бизнеса и размещал фотографии с таких знаменитых мировых курортов, что женсовет в виде исключения одобрил

его заочно.

Алла Ивановна ловко орудовала щипцами, превращая Женины растрепанные каштановые волосы в аккуратные локоны, не переставая мечтать о красивой жизни, которую могло бы обеспечить семье Женино замужество:

— Было бы так чудесно, если бы ты поехала в Париж в свадебное путешествие… Ах, Франция, Париж… Эти тихие улочки, эта музыка повсюду… Я могла бы поехать с вами, я бы все вам там показала… Три года назад, когда я возила своих учеников во Францию…

В прихожую, мусоля вечную папиросу, притопала тяжелая артиллерия в виде суровой Жениной бабки, сорок лет отслужившей заместителем заведующей отделом Елисеевского гастронома. Продовольственная каторга закалила бабкин характер до состояния дамасской стали. Несгибаемая бодрая старуха, вышибленная на пенсию более молодыми и оборотистыми коллегами, весь свой командный пыл перенесла на трепетавшую перед ней дочь и безалаберную внучку, искренне полагая, что без ее ценных указаний обе «дурынды» пропадут.

— Распелись тут: Париж, узкие улочки… Что одна, что вторая… Интеллигенция! Домом никто

заниматься не хочет! Все думаете, я вас тянуть буду? — загремела бабуля.

Овчарка, пробудившись наконец от ленивой полудремы, заворочалась в своем углу и осторожно ухватила зубами черную Женину туфельку. Девушка, смеясь, потрепала собаку по морде:

— Что, зверюга, и ты хочешь меня замуж сплавить?

— А что ты думаешь? У нее тоже губа не дура, телятинку парную жрать любит… Уж пора бы и тебе о нас позаботиться. Двадцать шесть лет — дурында вымахала, каланча. А замуж все не берет никто. И сама тоже ни то ни се. В актрисы пошла… А что актрисы? Одни простигосподи, прости меня, господи… Шла бы по торговой, как я. Еще знакомые остались, не все поумирали, слава богу, уж пристроили бы на теплое место тетеху…

Продолжая распекать дочь и внучку, «захребетниц бесстыжих», бабка прошествовала на кухню и взревела оттуда:

— Кто поставил утюг на блюдо с холодцом?

Женя, взвизгнув, метнулась за ней и вернулась уже в коротком шелковом платье. Алла Ивановна, залюбовавшись дочерью, прошептала:

— Шарман!

Женя, критически оглядев себя в зеркало, удо-

влетворенно кивнула:

— Да… шикарная женщина. Мечта олигарха. Последняя надежда благородного семейства. Что б вы без меня делали, сиротинушки… А, Пенелопа? — Наклонившись, она чмокнула овчарку в нос.

Затем, покрутив в руках подсунутую собакой туфельку, отбросила ее в сторону. Нет, в этих определенно нельзя идти — сбитые набойки, потертые носы… Женишок-то сразу раскусит, что она нищая охотница за чужими капиталами. Нет, так дела не делаются. Нужно изобразить успешную звезду, почти что оскароносную актрису, по которой давно плачет Голливуд. Тогда Буратино только счастлив будет, что такая важная персона обратила на него внимание, и все свои миллионы сам принесет, в зубах. Потом-то, конечно, выяснится, что никакая она не звезда, а так, второсортная актриса заштатного московского театрика, ютящаяся с мамой и бабкой в крохотной двушке на окраине… Но, если хорошо постараться, выяснится это уже после свадьбы.

Порывшись в шкафу, Женя извлекла на свет божий высоченные белые сапоги на невообразимых шпильках. Она угрохала на них всю зарплату с гастрольными, да еще у Ленки-костюмерши

занимать пришлось, до сих пор не расплатилась.

— Ты с ума сошла? — охнула мать. — Там же 27 градусов жары!

— А что делать? Другой приличной обуви у меня нет! — Она в последний раз кинула взгляд в зеркало. — Ну, Пенелопа, пожелай Каа доброй охоты!

Женя специально вышла из метро на одну остановку раньше и теперь, то и дело осторожно, чтобы не повредить макияж, промакивая лицо бумажной салфеткой, ковыляла к ресторану, где назначена судьбоносная встреча. Ноги в проклятых сапогах начали плавиться.

«Боже мой, до чего же жарко! Судьба начинающей охотницы за сладкой жизнью, оказывается, тяжела и полна лишений. А что делать? Ждать годами мечтательного и бескорыстного юного принца? Так и состариться недолго. Нет, вообще-то мечтательных принцев полно, только каждый при ближайшем рассмотрении оказывается любителем усесться принцессе на шею — я творческая личность, я не могу вкалывать на тупой работе за три копейки, я не виноват, что мой талант не находит достойного применения. Хватит с меня этих самовлюбленных мальчиков. Не очень-то хочется тащить на себе мать, бабку

да еще и никчемного принца… Фу, наконец пришла. Итак, состояние полной боевой готовности — локоны взбиты, губы подкрашены, верхняя пуговка расстегнута. Вперед!»

Войдя в полутемный кондиционированный зал, Женя с наслаждением вдохнула прохладный воздух и огляделась.

«Может, вон тот загорелый блондин в светлом костюме? Симпатичный… Хотя совсем не похож».

Широко улыбаясь, она неспешно направилась к дальнему столику, когда вдруг ее окликнули:

— Евгения?

Она увидела поднимающегося ей навстречу невысокого паренька. Его вид слегка разочаровал Женю: ну что это за олигарх — ни властной внешности, ни внушительной фигуры, ни даже костюма.

«Обыкновенный парень, и довольно молодой для таких-то капиталов. Впрочем, часы дорогие, в уголке рта пузатая сигара, так что, может, и олигарх. Кто знает, как они на самом деле выглядят, эти олигархи? Может, в этом-то все и дело — неброский шик, скромное обаяние больших денег… Уолл-стрит, так сказать…»

Парень тем временем с томным видом припал

губами к ее руке:

— Антон. Антон Спиричев. Для вас просто Тони.

— Может быть, Тоша? Более непринужденно… — Она старательно хлопала ресницами. — А я, как вы уже догадались, Женя.

К столику уже спешил сомелье, и Женя, быстро перебрав в памяти тщательно изученные перед свиданием заметки светской хроники, сделала заказ:

— Бокал розового вина. За знакомство!

— Разрешите посоветовать «Шато Перусь» урожая 1985 года. — Женя слушала непонятные слова сомелье с таким наслаждением, словно внимала поэзии Серебряного века. — Незабываемый изысканный аромат виноградной лозы, прогретой лучами средиземноморского солнца…

Тоша, кажется, не на шутку распаленный ее вниманием, прервал официанта и по-купечески махнул рукой.

— Да что там, неси сразу бутылку, — с вызовом бросил он удивленно покосившемуся на него сомелье. — У нас с деньгами проблем нет! Или у тебя, брат, другое мнение? — А затем, обернувшись к Жене, вкрадчиво добавил: — Вы не против?

— О, я, право, не знаю… Так жарко… — манерно пожав плечами, Женя скомандовала: — Две бутылки!

Вино действительно оказалось волшебным — помогло разрядить обстановку. Через полчаса Тоша уже рассказывал девушке, как верному другу, о том, какие испытания выпали на его долю в тяжкие годы юности.

— Начинает темнеть. А «духи» ползут, за склоном прячутся. Я пацанам своим говорю: «Не подкачаете, братцы?» А они: «Не беспокойтесь, товарищ подполковник». И по команде прицельным огнем… дрррррр… А ля гер ком а ля гер, как говорится. Я, между прочим, ранение имею! — С важным видом он продемонстрировал Жене короткий шрам, подозрительно напоминавший след после удаления аппендикса.

«Господи, что он несет? — стучало в Жениной приятно уплывающей куда-то голове. — Какой Афган? Ему лет двадцать восемь, ну тридцать. В детском саду он, что ли, батальоном командовал?»

Однако на всякий случай она в нужных местах испуганно вскрикивала, прижимала ладонь к груди и восторженно кивала.

— А свой банк вы уже потом открыли? — все-

таки поинтересовалась она.

И Тоша, значительно поиграв бровями, заверил:

— Конечно. С моим фронтовым прошлым волчьи законы российского бизнеса мне нипочем. Так что теперь я настоящий олигарх-лайт. Тем более в Нью-Йорке учился. А там так: если тебя не съели, значит, просто не успели…

Впечатленная Тошиным послужным списком, Женя как бы случайно задела ногой его колено. И тут же со всей искренностью разразилась ответной речью:

— Ах, Тоша, если бы вы знали, как я вам завидую. У вас такая интересная жизнь… А у меня… Постоянные съемки, фотосессии, интервью… города, аэропорты… Будто застряла в какой-то безумной матрице.

Тоша осоловело кивал:

— В матрице… Ага, ну как же… В матрице… Однако!

Женю несло, роль утомленной славой кинозвезды пришлась ей по вкусу:

— А вокруг одни застывшие маски, придуманные эмоции… Совсем нет времени на живое человеческое общение, на духовную близость…

Тоша, впервые за последние двадцать минут

уловив, о чем идет речь, вскинулся:

— Нет времени на близость? Да что вы говорите?

Женя продолжала вещать что-то уже совсем несусветное о том, как ей звонили из «Уорнер Бразерс», приглашали на главную роль в новый блокбастер, а она отказалась, так как не все в этой жизни измеряется деньгами, а ее талант достоин лучшего применения, чем второсортная американская стрелялка. Она уже и сама чувствовала, что перегнула палку, что ложь ее очевидна и по-детски глупа, но Тоша так внимательно ее слушал, так серьезно кивал… Фантазия несла ее дальше и дальше. Неизвестно, до чего бы Женя в конце концов договорилась, возможно, приписала бы себе парочку оскаровских статуэток, однако поток ее красноречия был прерван официантом, услужливо подсунувшим Тоше счет.

Олигарх-лайт заглянул в темно-синюю папку и побагровел.

— Прогретая лучами средиземноморского солнца… М-да… — пробормотал он себе под нос, однако довольно уверенно протянул официанту кредитку.

Женя же, отметив про себя этот его жест, решила, что все в порядке, должно быть, ее кавалер

просто бережлив, что, в общем, для семейной жизни не так уж плохо.

Распрощаться с Тошей Женя решила у выхода из заведения, наотрез отказавшись от предложения подвезти ее до дома. Антон важно продемонстрировал ей блестящий «Мерседес», на заднем сиденье которого сидела обалдевшая от жары и одиночества толстая австралийская крольчиха.

— А это моя Дольюшка, прошу любить и жаловать — Дольча. — Тоша выволок ее из машины и сунул Жене.

Девушка опасливо подхватила увесистое животное, не забыв, однако, восхищенно пискнуть.

— М-да, в честь модельера назвал, приятеля моего, — пояснил Тоша. — Это, кстати, как раз его подарок, Стефано. Презентовал мне, когда я у него на вилле гостил.

— Какая прелесть, — улыбнулась Женя, осторожно потеребив кроличьи длинные уши. — Ну до свидания, Тоша. Буду с нетерпением ждать нашей новой встречи.

Когда новенький «Мерседес» рванул с места, увозя олигарха-лайт и его откормленную любимицу, Женя, юркнув в ближайшую подворотню, вытащила из сумки старые вьетнамки и с об-

легчением переобулась, заботливо завернув драгоценные сапоги в пакет. Затем опустилась на край тротуара, закурила и объявила самой себе, что начало охоты, можно считать, прошло успешно, зверь, несомненно, заглотил приманку, а дальнейшее будет зависеть уже от ее ловкости и проворства.

* * *

Увидев, что Женя скрылась за поворотом, Антон Спиричев с облегчением выдохнул и откинулся на прохладную спинку кожаного сиденья «Мерседеса»: «Мать твою, ну и перенервничал. Чуть не засыпался. Думал, на свидание придет обычная симпатичная телка, студентка там какая-нибудь, а оказалась такая шикарная красотка, знаменитая актриса, наверняка денег куры не клюют. Если бы начала спрашивать про банк, точно спалился бы, пришлось сразу запудрить ей мозги папашиными историями про Афган».

Называя себя олигархом-лайт, Антон не то чтобы лгал, скорее сильно преувеличивал. Нет, конечно, нищим он не был, кое-что позволить себе мог — спасибо отцу, полковнику в отставке, сумевшему в девяностые благодаря цепкой хватке и старым связям сделаться директором

загибавшегося заводика.

Федор Николаевич взялся за дело с упорством бодрого отставника: раздобыл где-то финансирование, уломал иностранных инвесторов. И дело пошло — заводик, кряхтя и охая, заработал, а потом и вовсе разогнался и стал приносить прибыль. Теперь Федор Николаевич значился уже не просто директором, а совладельцем предприятия и спал и видел, как бы уйти на покой, да вот беда — не на кого оставить дело. На сына, никчемного обалдуя и лоботряса, надежды не было. Федор Николаевич называл отпрыска не иначе как засранцем, гонял его в хвост и в гриву, пытаясь хоть как-то втянуть в семейный бизнес, заставлял выступать на каждом собрании совета директоров с докладом. Тоша же с завидной регулярностью на собрания не являлся и мечтал, чтобы фатер оставил его в покое, обеспечив, разумеется, доступ к семейным капиталам.

Вот и сейчас, после этого свидания, на котором он трясся совсем как бедняжка Дольча перед жаркими объятиями пьяного хозяина, он не может заехать в бар снять стресс, а должен тащиться на какие-то дурацкие переговоры.

Тоша, поерзав, потянулся к мини-бару («Мерседес» представительского класса тоже, разумеется,

принадлежал фирме отца и предназначался для встречи важных клиентов) и извлек оттуда квадратную бутылку «Red Label».

«Промочить горло я имею право или нет? А то от этого пригретого Средиземноморья до сих пор во рту кисло».

— Вы б не пили пока, Антон Федорович, — добродушно пробасил шофер Володя. — Вам же с немцами встречаться через полчаса…

— Поговори мне еще! — взвился Тоша.

По телу разлилось бодрящее тепло, он прикрыл глаза и постарался вызвать в памяти образ Жени.

«Какая она… волшебная, удивительная… Глаза — как камешки на речном дне, а у самых губ родинка. Когда смеется — откидывает голову, и волосы рассыпаются по плечам. Да чего там — влюбился в нее, с первого взгляда влюбился. Теперь только бы не выдать себя — всего-навсего безалаберного сына оборотистого папаши, — а то ведь она, птица высокого полета, и не взглянет на какого-то там старшего менеджера по закупкам сырья на малюсеньком подмосковном заводике».

Дольча, забившись в угол сиденья, не сводила глаз с хозяина, и Тоша, пьяно осклабившись,

обратился к ней:

— Зайчишка моя, одна ты меня любишь, одна ты ничего не требуешь. Дай я тебя расцелую.

Машина летела по Новому Арбату мимо сияющих стеклами высоток, мимо дорогих магазинов, рекламных щитов, растяжек и светящихся табло. Смачно чмокнув крольчиху и тут же чихнув от набившегося в нос белого пуха, Тоша приказал шоферу:

— А ну тормозни вон у того кабака, зайду освежусь. Никуда эти немцы не денутся, подождут. А начнут выступать, так мы им напомним 1945 год!

В переговорной, просторной комнате с широким окном, выходящим на главный вход административного корпуса завода, Федор Николаевич Спиричев, коренастый краснолицый мужичок лет шестидесяти, беззвучно матерясь, расхаживал вдоль длинного стола, за которым расселись представители немецких партнеров. Сын опаздывал уже на полчаса.

«Проклятый разгильдяй, опять все на свете проспал и забыл. Делать нечего, придется начинать без него», — Федор Николаевич обернулся к переводчику и начал:

— Дорогие коллеги.

В этот момент с улицы донесся шум мотора. Спиричев глянул на паркующийся «Мерседес» и остолбенел: из машины выкатился помятый, расхристанный Антон. Пошатнувшись, он едва не осел на землю, но устоял на ногах и, вытащив из машины крольчиху, пошел ко входу.

За спиной Спиричева-старшего бесшумно возник предупредительный секретарь, и Федор Николаевич, сделавшись совсем уж свекольного цвета, просипел:

— Перехвати засранца и запри в моем кабинете! Бегом! — Обернувшись к немцам, объявил: — Мне только что доложили… Антон Федорович задержался… на переговорах… на… мм… других переговорах…

Секретарь метнулся к выходу, но Тоша оказался проворнее. Тут дверь переговорной распахнулась, и ввалился менеджер по закупкам сырья во всей своей освеженной красе. И без того длинные физиономии немцев вытянулись еще больше, а наследник семейного бизнеса, обведя комнату царственным жестом, объявил:

— А вот и я! Простите, задержался… задержался…

Федор Николаевич, все еще надеясь спасти положение, значительно произнес:

— На переговорах!

Сын удивленно захлопал глазами, пытаясь выискать среди кружившихся пятен источник знакомого голоса.

— Что? — И, узнав наконец отца, с пьяным добродушием произнес: — А, папа, и ты здесь? А что такое? Что такой грустный? Вот знаешь, папа, я тебе все время хотел сказать: сколько я тебя знаю, ты все время грустный и грустный… Как будто ни дна тебе, ни покрышки…

— Так что там, Антон Федорович, на переговорах-то? — засуетился секретарь.

— На переговорах? А, ну да… на переговорах… — Он принялся неловко пробираться к своему месту. — Так знаете ли, господа, переговорили… Очень… э-э-э… прод… продуктивно.

Тоша запнулся о ножку кресла, потерял равновесие и с размаху уселся на спину представителю германской фирмы, грузному мужичку в очках. Тот от неожиданности опрокинул кофе себе на брюки. Началась суета, участники встречи повскакивали с мест. Лицо Федора Николаевича приняло совсем уже апоплексический оттенок.

— О, прошу прощения. Устал… э-э-э… на переговорах. Эти переговоры, знаете ли… Миль пардон, мада… Простите, мусье! — И Тоша, с неожидан-

ной ловкостью стащив с себя рубашку, попытался вытереть ею испорченные брюки немца.

Федор Николаевич ринулся к сыну, проволок по комнате и вышвырнул за дверь, задыхаясь и безуспешно пытаясь выговорить:

— Зас… зас…

* * *

На свидание через два дня Тоша явился отчего-то в темных очках. Женя решила, что это для пущей шикарности. Встретиться они договорились на Тверском бульваре, Женя наплела, что дает интервью в кафе неподалеку.

— Здравствуйте, Тоша! — пропела Женя.

Настроение у девушки было замечательное и еще улучшилось, когда Тоша расплылся в улыбке при ее появлении. Они пошли по бульвару к припаркованной у поворота на Тверскую машине. Все скамейки облепила студенческого вида молодежь. На другой стороне улицы жевали мороженое за столиками «Макдоналдса» разомлевшие от жары москвичи.

— Ну что, айда тратить денежки! — залихватски предложил Тоша. — Хочешь узнать, красавица, как зажигают олигархи-лайт?

— Мне кажется, меня ничем уже не уди-

вишь… — сморщила носик Женя. — Как-то раз на приеме у Бертолуччи…

— А мы попробуем, — возразил Антон.

— К тому же я не одета… Это интервью, нужен был деловой стиль. — Женя имела в виду свою узкую темно-серую юбку (если быть честной, перекроенную из старого материнского платья). — Не успела заехать домой переодеться.

— Так в чем же дело! Поехали в магазин, подберем вам что-нибудь.

— Право, не знаю, это неудобно, — отнекивалась Женя.

— Неудобно на потолке спать, — отмел все возражения Спиричев-младший и скомандовал шоферу: — Вези в Третьяковский проезд.

В дорогущем бутике вокруг Жени сразу же засуетились: принесли кофе в крошечной чашечке, завалили одеждой. Тоша тоже примерил джинсы из новой коллекции Версаче и, вертясь перед зеркалом, кряхтел:

— Не знаю… Не будут ли они меня дешевить?

Себе он так ничего и не купил, зато Дольча разжилась шелковым шарфиком, который Тоша торжественно повязал ей на шею. Женя же, боясь спугнуть потенциального жениха излишней меркантильностью, остановилась на относительно

недорогом черном платье.

— Похоронное какое-то! Выбери что-нибудь поэлегантнее, погламурнее. — Кавалер стащил с полки большую темно-бордовую сумку. — Вот хоть этот баул возьми!

— Тоша, это же «Биркин»… Откуда он здесь?

— Ну и что, что бирки? Срежем!

От сумки Женя, однако, отказалась, представив себе, как страшно будет ехать с таким сокровищем в метро, то и дело ожидая получить по голове от продвинутого грабителя. За ее наряд Тоша расплатился наличными — извлек из кармана несколько измятых стодолларовых купюр. А затем, обняв ее за плечи (Женя решила, что можно уже позволить ему некоторые вольности), повез развлекаться в недавно открывшийся модный ночной клуб.

Удобно устроившись на бархатных диванных подушках, Тоша тут же запросил винную карту. Женя, даже не взглянув в нее, заказала:

— Мне «Кристалл», пожалуйста!

— Ради бога извините, но «Кристалл» закончился. Могу предложить «Вдову Клико», «Дом Периньон», — смущенно расшаркался официант.

— Это не мой уровень, — скривился Тоша, однако заказал сразу пять бутылок.

Дольча, которую Спиричев-младший тоже притащил в ночное заведение, хрумкала специально принесенную из кухни морковь, уютно примостившись в уголке дивана.

От грохочущей музыки у Жени разболелась голова. Она давно уже перестала считать бокалы шампанского и только удивлялась, отчего же ей все никак не делается весело. Напротив, с каждым выпитым глотком на душе становилось все муторнее, россказни захмелевшего Тоши ей опостылели, и больше всего хотелось отправиться — нет, не домой, там из нее клещами начнут тащить, почему она упустила такого выгодного жениха, — а куда-нибудь к черту на кулички.

«Что ж за жизнь-то такая паршивая, а? Отчего молодой красивой женщине приходится корчить из себя невесть что и придуриваться для этого остолопа? Он ведь был бы даже симпатичным, если бы не все эти пошлые и смешные понты», — думала Женя.

Совсем расстроившись, она хлопнула очередной бокал и, обведя взглядом помещение, увидела стоявшего у барной стойки лысого сорокалетнего крепыша чрезвычайно мрачного вида.

— Смотри, — зашипела она Тоше, — это же известный криминальный авторитет Мамонт…

— Ты о чем? — Тоша смешно захлопал ресницами.

— Я говорю, Мамонт, — стараясь перекричать музыку, повторила Женя. — Бандит! Ты что, не слышал о нем?

— Мамонт? Как же, как же, мы с ним старые кореша… Бывало, говорю ему: ну что, брат Мамонт? А он мне… Эх, жаль, давно не виделись, раскидала судьбина злая…

— Так вон же он! — Женя кивнула на лысого у стойки. — Пойди поздоровайся!

Тоша оторопело перевел взгляд на мафиозную знаменитость. Всю спесь с него сдуло, и вид олигарх-лайт имел довольно жалкий. Но девушка — девушка, которая по-настоящему ему нравилась, — смотрела выжидательно, и Антон поднялся, прикидывая, что на дворе уже не девяностые и вряд ли кто, пусть даже и отпетый урка, решится пристрелить его посреди гуляющего ночного клуба.

Воровато оглядываясь по сторонам в поисках возможности побега, он направился к Мамонту. Женя последовала за ним. Между тем Дольча, воспользовавшись неожиданно свалившейся на нее свободой, спрыгнула с дивана и юркнула куда-то в темноту.

— Здорово, Мамонт! — гаркнул Тоша, поравнявшись с крепышом.

Тот смерил его взглядом и, не говоря ни слова, отвернулся.

— Что ж это ты, не узнал боевого товарища? — не сдавался Тоша.

— Тамбовский волк тебе боевой товарищ, — презрительно сплюнул Мамонт.

Поймав Женин удивленный взгляд, Тоша фамильярно хлопнул Мамонта по плечу. Тот от неожиданности закашлялся.

— Старых друзей забываем… — исполненным обиды голосом изрек Тоша. — Нехорошо, не по-пацански… э-э-э… Слоненок! Забыл, значит, как мы в 92-м солнцевским разборки устраивали? Бизнесменом теперь заделался?

Мамонт, все еще продолжая кашлять, ошалел от такой наглости. Его и без того недружелюбная физиономия побагровела.

Тоша, торопясь разрешить ситуацию, пока бандит не пришел в себя, махнул рукой:

— Что с тебя взять? Пойдем отсюда!

Поспешно удаляясь, он доверительно жаловался Жене:

— Не могу выносить человеческую черствость, неблагодарность… Вся душа переворачивается.

Я хоть и две войны прошел, а все такой же… ранимый…

И Женя отозвалась с пониманием:

— Тоша, у тебя душа поэта… Ты такой тонкий…

Потом они еще что-то пили, курили по очереди огромный кальян. Голова Жени куда-то плыла, и смутные угрызения совести рассеялись.

Тоша и в самом деле начинал нравиться ей.

«Такой трогательный, крольчиху эту повсюду за собой таскает — куда, кстати, она подевалась? — и добрый, щедрый. Не жмот какой-нибудь, хоть и олигарх. А то, что приврать любит, так это, может, от развитой фантазии».

И, придвинувшись к кавалеру, она продолжала рассказ, в котором уже сама запуталась:

— И вот после церемонии подходит ко мне Тарантино, а я ему: «Стивен!..»

— Он же Квентин?

— Ну да, Квентин… Но я его называю Стивен. Не понимаю, что в этом странного!

— Да нет, я так… — Антон примирительно развел руками, зацепив рукавом кальян.

Конструкция тут же обрушилась, зазвенело разбитое стекло, ковровое покрытие начало тлеть. Тоша испуганно заметался, а Женя, схватив со стола недопитую бутылку шампанского, залила

им занявшийся ворс. Подоспевшие официанты принялись устранять последствия инцидента.

— А вот у нас на фронте случай был… Я сразу вспомнил, когда гарью потянуло… Засели мы как-то с ребятами в ущелье…

— Тоша, ты такой смелый… — перебила Женя. — Настоящий мужчина, не то что все эти голливудские… гермафродиты! Я сейчас всем скажу, какой ты храбрый!

Она, пошатываясь, вскарабкалась на сцену и, слегка поскандалив с менеджером, сумела-таки заполучить микрофон. За столиками стало тихо. Женя с пафосом объявила:

— Для моего друга Антона… который много повидал… и воевал во имя защиты Родины… — а затем проникновенно затянула: — Господа офицеры!..

Какая-то полупьяная деваха прошествовала к сцене и, вытащив зажигалку, принялась мерно покачивать ею в такт музыке. Разомлевший Тоша, дважды оступившись, тоже вкатился на площадку с бутылкой шампанского и, опустившись на пол возле поющей Жени, попытался стащить с ее ноги туфельку. Женя, не прекращая петь, недоуменно таращилась на Тошу и всячески старалась увернуться. Наконец ему удалось

все-таки сдернуть с Жениной ноги туфельку. Тоша сосредоточенно налил в нее шампанского, поднялся и, обняв Женю за плечи, обратился к публике:

— Слышь, братва! Эта баба — это вам не какая-нибудь телка, это моя невеста. Я женюсь на ней, я сказал! Мы, может, и недавно знакомы, но я люблю ее! А сейчас мы едем покупать кольцо. От Тиффани, я сказал!

Тоша поднес к губам туфельку и, прихрюкивая, выпил шампанское. Ошеломленная Женя чмокнула его в макушку.

Он, расталкивая всех на своем пути, по-армейски промаршировал к выходу, волоча за собой Женю. Уже у самых дверей путь ему преградил менеджер:

— Я извиняюсь… Вы не изволили расплатиться…

— Ах да… Держи! — Тоша вальяжно вручил менеджеру кредитную карту.

Тот через несколько секунд возвратился, разводя руками:

— Прошу прощения, но ваша карта заблокирована.

— Что? Да ты в своем уме? Ну, сволочь, если б я так не спешил… — Порывшись в карманах, он

сунул менеджеру измятую пачку купюр. — На вот! Сдачи не надо!

— Я прошу меня извинить, но тут… с позволения сказать… Не хватает.

— Чего не хватает? — гаркнул Тоша. — Я тебе семь штук зелени дал.

— Я извиняюсь, но тут… так сказать… на двести восемьдесят тысяч рублей… — пояснил менеджер.

— Сколько? — Тошины голубые глаза чуть не выскочили из орбит. — Да ты… да вы тут все… Жулье! Обсчитали, ободрали! Ты что, за идиота меня держишь? Не собираюсь я эту байду оплачивать! И вообще, где… Где мой кролик? Где Дольча моя, моя девочка? Ее украли у меня! Ты украл, сука, да еще и надуть хочешь? Я тебе… — И взбешенный Тоша полез на менеджера с кулаками.

А тот резким, почти незаметным движением всадил жилистый кулак в живот зарвавшегося гостя. Тоша, икнув, сел на пол. Женя, вскрикнув, закрыла ладонями лицо.

Голову нещадно ломило. Дорогущее шампанское, выветрившись, похмелье оставляло совершенно обыкновенное, двухсотрублевое. Женя выдохнула и потерла глаза. Они с Тошей сидели в комнате для персонала уже два часа.

Сначала олигарх-лайт буйствовал и грозился, потом жаловался на судьбу в лице папаши, перекрывшего сыну доступ к семейным закромам, затем, отчаявшись, стал названивать этому папочке и наконец с победной улыбкой обернулся к Жене:

— Все в порядке. Папа сейчас подъедет, он разберется… Ты прости, что так получилось, я же не знал, что папа…

— Папа? — ехидно переспросила Женя. — Так, значит, это его деньги ты тратил? А как же олигарх-лайт, собственный банк, бизнес в Швейцарии… Это тоже все папино, что ли?

Тоша смутился и попытался уйти от ответа:

— Дорогая, может быть, потом об этом? Сейчас главное — Дольчу найти…

— Нет уж, любезный друг, давай сразу разберемся. Или, может быть, мне лучше у твоего папы обо всем спросить? Как считаешь, олигаршусик мой, а?

От такой перспективы Тоше сделалось нехорошо, и он, потупившись, признался:

— Да нет этого ничего! Ни банка, ни Швейцарии… То есть Швейцария-то есть, а бизнеса там у меня нет. И в Афгане я не был.

— Да неужели?

— Я просто менеджер по закупкам оборудования на одном подмосковном заводике…

— Который, конечно же, принадлежит папе, — подытожила Женя.

— Ну… частично, — кивнул Антон.

Он придвинулся к Жене, попытался взять ее за руку:

— Ты извини, я сам не понимаю, почему все это наговорил… То есть понимаю, конечно. Просто ты очень мне понравилась…

— Убери клешни! — Женя резко поднялась. — Понравилась… Оригинальная у тебя манера ухаживать… Наврал с три короба, наобещал неизвестно чего. Ты что же думаешь, я после этого буду и дальше с тобой общаться? Да мне находиться с тобой рядом противно, понторез недоделанный!

— Ясное дело, мы с тобой больше не увидимся… — обреченно произнес Тоша. — Ты ведь знаменитость, на такого, как я, даже и не взглянешь. Но если бы я сразу тебе правду сказал, то у меня вообще шанса не было бы. Куда мне до твоих Квентинов…

Женя смутилась, но тут же взяла себя в руки.

— И подарки забери, их, наверное, можно вернуть и получить назад деньги, — бросила она, скидывая туфли. — Жаль, что я платье снять не

могу, так бы и кинула его в наглую физиономию.

Она схватила сумочку и босиком направилась к выходу.

— Ты куда? — окликнул ее Спиричев.

— Домой. Сейчас прискачет твой папаша и наверняка выпорет непослушного сынка. А мне на это смотреть неохота. Не переживай, за такси я сама заплачу, а, впрочем, тебе и нечем… — И Женя стремительно вышла из комнаты, не удостоив Тошу и взглядом.

Мать и бабка, узнав о постигшей ее неудаче, объявили семейный траур. Алла Ивановна всхлипывала:

— Я так хотела, так мечтала… Что ты наконец встретила достойного человека. Что он будет заботиться о тебе да и нас не оставит.

— Эх, Алка, дура ты, дура, — качала головой бабка. — Чтоб достойного да заботливого отхватить, надо чтоб в башке что-то было. А ей куда? Ей вон первый встречный аферист наплел черт-те чего, она и уши развесила. И ты вместе с ней. Навязались на мою голову две кулемы. Так, видно, и тащить мне вас на горбу до самой смерти.

Даже верная Пенелопа, казалось, смотрела на нее с высокомерным презрением.

Женя и сама себя ругала на чем свет стоит:

«Надо ж было выставить себя такой идиоткой — таскалась с ним везде, слушала бесконечные бредни, головой кивала. А ведь чувствовала, что что-то тут не так. Почему же сразу не поставила на место?»

Через день после ее триумфального провала позвонили из ночного клуба — портье записал номер ее мобильного, когда заказывал для нее такси.

— Это вы забыли кролика?

— Какого кролика? — не поняла Женя, но сразу сообразила: — Ах, вы про Дольчу!

— Не знаю, Дольча она или Габбана, только ее нужно немедленно от нас забрать. Она уже уничтожила на кухне недельный запас моркови. Если вы не приедете, я собственными руками сделаю из нее низкокалорийное азу.

— Хорошо-хорошо, я приеду, — согласилась Женя.

Так в их двухкомнатной квартире поселилась белая австралийская крольчиха с флегматичным характером, лошадиным здоровьем и непобедимым аппетитом.

— Доченька, ну зачем она нам? У нас и так места мало, — трепыхалась Алла Ивановна.

— Ты скажи спасибо, что она в подоле не

принесла, — изрекла бабуля, вынув изо рта изжеванную «беломорину». — Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Пенелопа несколько дней недоверчиво косилась на незнакомого зверя, но потом, смилостивившись, лизнула крольчиху в розовый нос. В конце концов домочадцы привязались к Дольче. Алла Ивановна тщательно расчесывала ее белую блестящую шерсть и повязывала крольчихе на шею атласные ленточки; бабка, возясь на кухне, не забывала оставить для «животинки» капустную кочерыжку; а Женя, поглаживая кролика за ушами, жаловалась вполголоса:

— Дольчинька, отчего ж твой хозяин таким дураком оказался, а? Он ведь мне и правда понравился…

Женя собиралась приняться за уборку, когда в дверь позвонили. Оправив выношенный халатик, она пошла открывать. На пороге стоял Тоша с пышным букетом пионов.

— Как… Как ты меня нашел? — пролепетала ошеломленная девушка.

— Поймал таксиста, который дежурил у клуба. Он дал мне твой адрес. Значит, вот так живут голливудские звезды?

— Это… это квартира моей бабушки, — попыта-

лась отовраться Женя. — Я здесь почти не бываю, только…

— …только проездом из Лос-Анджелеса в Париж. Ну понятно. И халат на тебе тоже бабушкин. И вот это, — он махнул в сторону возвышавшихся под зеркалом белых сапог, — тоже ее.

Женя поняла, что отпираться бесполезно. И тут из комнаты, привлеченная шумом, выкатилась Дольча.

— Что это? Не может быть, это же… Дольчинька, девочка моя, ты нашлась! — Спиричев подхватил крольчиху на руки. — Женя, это ты, ты ее нашла?

— Да, мне позвонили из клуба, и я ее забрала.

— И ты решила оставить ее у себя? Но почему? — Тоша обернулся к девушке.

Женя смущенно пожала плечами и, не найдя что ответить, заметила:

— М-да, неудачливые мы с тобой получились золотоискатели…

— Ну это как посмотреть… — Аккуратно опустив Дольчу в кресло, он шагнул к Жене, притянул ее к себе и поцеловал.

Августовское солнце клонилось к закату. На распахнутой в сад створке окна сушились Тошины плавки и Женин ярко-оранжевый купальник.

Во дворе Алла Ивановна усердно выпалывала сорняки вокруг клумбы с анютиными глазками. С террасы донесся раскатистый голос Спиричева-старшего:

— Хода нет — ходи с бубей, бубен нет — ходи с червей.

Тоша сгреб разомлевшую от жары Женю в охапку и поцеловал в пахнувшее речной водой плечо. Вследствие того, что семейные капиталы были порядком растрачены Тошей во время его разудалого загула, на семейном совете было решено, что медовый месяц молодые проведут на подмосковной даче Федора Николаевича. И вот уже неделю они наслаждались друг другом среди пузатых садоводов, крикливых деревенских бабок и парного молока по утрам.

— А все-таки хорошо, что ты не кинозвезда. Сейчас спешила бы на съемки куда-нибудь в Париж или Лондон. А я бы торчал тут один.

— Ты бы тогда был олигарх и торчал не тут, а на каком-нибудь совещании совета директоров твоего банка, — напомнила Женя.

— Да ну его, в такую жару, — засмеялся Тоша. — Знаешь, по-моему, мы все равно неплохо устроились.

— Значит, ты не только на войне можешь

чувствовать себя по-настоящему счастливым? — лукаво спросила Женя.

— Не-а… Лишь бы у тебя находилось время на близость, и не только духовную. — Смеясь, он повалил молодую жену на кровать и набросился на нее с поцелуями.

На веранде тяжело заскрипело старое кресло. Бабка, поднимаясь, сгребла со стола карты и сурово выговорила Спиричеву-старшему:

— Давай-давай, Николаич, держи себя в руках, нервничай после расплаты.

Федор Николаевич, ругаясь, отсчитал проигрыш, и бабка, пряча купюры в карман засаленного фартука, произнесла:

— Пойду, что ли, ужин разогревать. А-то нашито сейчас встанут, жрать захотят. Засранцы!

Елена Нестерина
Акции небесного электричества

Холодно, очень холодно было в Москве этим ноябрем. С самого начала месяца часто и помногу шел жесткий мелкий снег. Промерзший ветер нес его по широким улицам, разметал в переулки, шлифовал им до благородного блеска накатанные дорожки на тротуарах.

В один из ледяных дней, когда на свистящей улице легкие не успевают согреть попавший в них ветер, к расселенному аварийному дому, затерявшемуся в старых новостройках Москвы, подъехала облава.

В доме жили. И серьезно рисковали при этом — тот, кто не имел в столице прописки или регистрации, после облавы обязательно ставился перед выбором: или получать срок за тяжкое нарушение регистрационного режима, или, подписав добровольно-принудительный контракт, отправляться в дальнее-дальнее Подмосковье. Там, среди сырых талдомских лесов, стояли вредные-вредные, но очень полезные столице предприятия. Там работали на износ. Получали,

конечно, зарплату — не наличными, а переводом на пластиковую карточку (действующую, правда, только в том городе, где работник был прописан). К концу контракта набегала приличная сумма, забирай и иди себе, то есть отправляйся на малую родину, — отъезд с завода и возвращение в порт приписки тщательно контролировались и отслеживались. Но как набегали деньги, так и убегали силы — наступал этот самый полный износ организма.

Всеми способами нужно было стараться не попасть туда, а грозило это только жителям Немосквы и Необласти, которые приезжали в столицу охотиться на деньги. Ведь деньги по-прежнему водились только там. Эти чужие Москве были не нужны — своим рабочих мест не хватало.

Зато очень пригождались Области. Эти люди были Сила, рабочая нужная сила.

В Москве уже давно нельзя было иначе — новый закон оказался суровым, повернутым добрым лицом к тем, кто вовремя успел стать в столице «своим», и лицом беспощадным — ко всем остальным.

* * *

Юля проснулась, но глаза открывать не спешила, потому что слышала — Володя чем-то гремит, а значит, зажигает керосинку. Холодно, лучше еще чуть-чуть полежать на кровати из высоких ящиков и благодарно-жарких армейских одеял. Юля поправила на голове шерстяной платок, сладко повернулась на другой бок и, вытянув шею, понюхала воздух. Скоро запахнет едой — и вот тогда можно будет обрадоваться новому дню.

И правда. Вот в холодном воздухе понесся дух теплой рыбы; рыбы горячей; даже слегка подгорающей рыбы. Юля открыла глаза — Володя улыбался и широко махал ей сковородкой.

Юля выбралась из одеял, слезла с шаткой кровати, сразу обулась в крепкие ботинки.

— Юля! Я жду тебя. — У Володи был замечательный голос. На такой голос хотелось бежать с края света.

И сам Володя был очень красив. Стать бы ему артистом. Но он выучился на геодезиста — умел замерять землю, которой до его голоса, лица и тела не было никакого дела. Пока он жив, конечно, не было.

Юля любовалась своим Володей. Выпила воды,

которую он дал ей. Выпила еще, посмотрела на белое дно чашки, еще раз выпила. Сняла платок, поцеловала Володю, улыбаясь ему и рыбе, отскочила в самый дальний угол крошечной самодельной комнаты и совершила несколько упражнений зарядки, которым позавидовала бы заядлая фитнес-женщина.

Рыба ждала, подергиваясь на сковородке, снятой с огня. Она не остывала, хотя уже должна была — ведь в комнате, кроме керосинки, не было обогрева.

Ждал и Володя. Он никогда не ел без своей Юли.

Вот они подсели к рыбе. Но тут топот, крики и треск послышались с разных сторон. Кто-то истошно кричал, упираясь, кто-то кричал, напирая. Кто-то громко бежал по коридору, ближе к комнате-городухе, еще ближе…

Треск и грохот усилились. Под ударами вот-вот должна была упасть дверь.

— Всем оставаться на местах! Не двигаться! — Ломавших дверь было двое или даже больше. Кричали они со стопроцентной верой в успех.

Дверь вылетела вместе с рамой.

Пока дверь держала оборону, Володя выбил заложенное фанерой и заткнутое тряпками окно,

схватил свою большую куртку, завернул в нее Юлю — и выкинул ее на улицу. Через секунду за ней полетела Юлина сумка. И рыба.

Выглянув в окно и убедившись, что Юля жива, не разбилась, Володя крикнул:

— Я найду тебя! Я позвоню! Не бойся! Жди, Юля!

Через мгновение звуки послышались уже другие: облава настигла Володю. Кричал он теперь другое — отвлекающее от мысли о том, что Володя в комнате был не один, что надо бы поискать беглеца на улице. Берите типа только его, Володю. Его и брали.

* * *

Такой успешной операции давно не проводилось. Больше тридцати человек, нелегально обитающих в Москве и отбивающих хлеб у законных ее жителей, удалось задержать и доставить в специальный отдел.

В основном это были артисты и музыканты — Юлины друзья. Володя-геодезист вообще-то искал другой доли, когда-то он грузил мешки с цементом на стройке пристройки к ночному клубу, где выскочившая отдохнуть в перерыве между номерами наемная танцовщица Юля на него и

налетела. До этого Володя жил на строительном складе, но появление Юли изменило его жизнь.

Очень изменило.

— Будем бороться с тем, что мы бедные и ненужные, — сказал он как-то Юле, стоя у построенного клуба и глядя на сияющие хром и пластик автосалона, где в тепле и уюте носились среди покупателей и начальников работники и работницы. — И что впереди нас ждет наемное рабство.

Они начали пытаться добывать деньги в Москве — городе будущего.

Юле и Володе посчастливилось жить в благостное время — после окончательной победы демократических сил в правительстве люди стали свободными. Вживление микрочипов — пакостное нововведение, казавшееся поколению родителей Володи и Юли чем-то из мира фантастики, было отменено как нарушение прав человека.

Да, с чипами было не забалуешься. Несанкционированный въезд на территорию приоритетной зоны страны фиксировался со спутника, оттуда же поступал сигнал — и нарушитель блокировался. Не сунешься. Никак. А сейчас гайки раскрутили — и Москва стала возможна. Оказа-

лось возможным попасть в нее.

Они и попали.

* * *

У Юли не было другого выбора.

Она вылетела из окна второго этажа и упала на кучу строительного мусора, засыпанную снегом. Куча была неровной, бугристой, так что дробленый кирпич, щебень и куски арматуры дали о себе знать Юлиным спине и бокам. Еще Юля разбила лицо, но осталась жива и ничего не сломала. Володя знал, что делал, когда бросал ее на землю. Знал, на какую землю, знал, зачем бросал. Володя…

Юля вскочила на ноги, куртка слетела. Снова завернувшись в нее и привычным движением набросив на плечо ручку сумки, Юля побежала вдоль дома. Что происходит? Всех хватает полиция? Или выборочно? Надо узнать, что там, с той стороны.

Пока Юля бежала, стихли крики, послышался рев машин; вот он сошел на нет — уехали… Юля решила вернуться в огороженную Володей комнатку, которая ей казалась самой теплой в доме.

Но хорошо, что она не успела обойти дом и зайти со стороны подъезда — мелькнула одна

фигура в сером бушлате, вторая, третья. Это была охрана. Если Юля сунется, ее моментально схватят тоже. А Володя велел ждать. Неужели он выберется? Неужели не попадет на заводы? На заводах плохо — заводы отбирают жизнь, и никакая страховка не спасет здоровье неценных рабочих: на место павшего заступит следующий, их ведь полная страна. Грустное медицинское заключение отправится по месту прописки, а вместе с ним письменные соболезнования и скорбный сувенирный подарок от правительства. Плюс предложение забрать усопшего в десятидневный срок — проезд бесплатно, за счет страховки покойного работника.

Володя, Володя… Неужели ему удастся? Как хорошо бы было, если бы ему повезло! Повезло бы если бы…

Повезло. Но как ему могло бы повезти? Если не завод, то что? Интим-услуги по новому трудовому законодательству могли предоставлять только те, кто начинал свое обучение этому еще с детства, как балету, и трудился на данном поприще, тщательно охраняемый медициной. Здоровье нации не должно ставиться под угрозу. Было сказано столь решительное «НЕТ» призраку смертельных болезней — что он испугался и отступил куда-то

на окраины миров. Спрос на услуги был большой, рынок трудящихся на этом фронте огромный — и все с хорошим образованием и вполне легально, поэтому нелегалов-индивидуалов сурово теснили с рынка — и ждали их или те же заводы, или рабочая тюрьма за Полярным кругом. Поэтому можно было не переживать за то, что Володю принудительно заставят эти услуги оказывать. Учиться поздно, а так не возьмут. Наверняка… Хотя наверняка услуги легче, чем завод…

Легче… Как московский подпольщик-нелегал со стажем, Юля знала и еще один способ приложения сил этих самых подпольщиков. Небольшие аптеки — яркие, лучезарно манящие позитивными словами о здоровье, призывами приходить за лекарствами именно к ним. Бесплатные, совершенно бесплатные аптеки. Возьми, больной, себе лекарство, лечись на здоровье. Да, оно экспериментальное, поэтому и даром, без гарантии. Пойдет на пользу: приди, расскажи, врач бесплатно тебя осмотрит. Ну а не пойдет на пользу то лекарство, что он выпишет, — приходи за другим, ради счастья будущих поколений их много производится. Если уже не сможешь прийти — значит, не повезло… Пусть только родственники или знакомые сообщат о смерти — похороны за

счет завода-изготовителя, вскрытие и тщательное изучение причины смерти — тоже. Вот на такую работу завербовывали — жить при заводе и испытывать на себе то, что затем появляется в аптеке и испытывается последующими счастливцами. Аптек бояться нечего — там продается почти до конца испытанное, проверенное. Но еще одна проверка не помешает. Поэтому они и существовали — бесплатные.

Юля и Володя обходили стороной такие аптеки. И если вдруг болели — шли за лекарством в аптеку дорогую, но первой категории настоящести. Ну или хотя бы второй, где если и были лекарства поддельные, то не все или частично настоящие. Хотя многие думали: эх, пропадать все одно, а вдруг поможет экспериментальное лекарство? Для людей же делается… Володя и Юля не слушали этих отчаянных. Да и, по счастью, не болели.

«Только бы, — думала Юля, — Володя не попал в отряд тех, кого завербуют на фармацевтический завод! На первичные испытания — только бы не туда! Хотя у него отличное здоровье — но ведь можно его сначала испортить, а потом начать лечить новыми лекарствами?! Не думать об этом, не думать!» — командовала себе Юля, пробираясь вдоль стены. Пробираясь и оглядываясь — вдруг

вернутся, вдруг схватят и ее…

Нужно было уходить, скорее уходить прочь отсюда.

Недалеко от места своего падения Юля подобрала зарядное устройство от мобильного телефона. Володя позаботился, выбросил в самый последний момент. Он хотел с ней связи. Телефонно-мобильным способом. Хотел — значит, уверен. Володя… А когда взгляд Юли упал на жареную рыбу, леденеющую на крупчатом снегу, горячие слезы удержаться в глазах больше не смогли. Володя, хороший Володя спас ее, а сам… Где он сейчас сам?

Он отличался от всех танцоров и артистов, к которым Юля тоже когда-то прибилась. Володя был белокур, высок и красив, он делал больше, чем говорил, а говорил меньше, чем улыбался. Он хотел хорошей жизни для Юли и для себя. И он умел держать обещания. В его взгляде было величие, обитатели дома актерского братства смотрели на Володю как на принца. Потому что короля у них не было.

Некому, кроме Володи, было верить Юле в этой жизни. Некого ждать. Юля была преступницей — она покинула свой маленький умирающий городок и отправилась за деньгами в столицу.

Она нарушила визово-регистрационный режим — правила игры, которые придумали знающие дело люди, спасавшие переполненную столицу страны от остальных жителей страны. Страна против страны. И в эту страну Москву тянуло. Тянуло многих — вот ту же Юлю, виноватую в том, что она не смогла наладить себе жизнь там, где родилась. Это чувство вины и не позволяло ей и подобным субъектам качать права. Позволяло лишь таиться, приспосабливаться и выживать.

А ничего, это Юля давно поняла, люди не ценят дороже игры. Игра помогала тем, кто платит, жить интересно — поэтому у нее бывала работа.

Чтобы не рыдать на пустыре, не умереть тут же от одиночества, голода и отчаяния, у Юли тоже должна была получиться своя игра. Да, она дождется Володю, она переиграет этот город, она выживет. На мобильном телефоне еще есть деньги, и срок их истекает чуть меньше чем через месяц, как раз тридцатого декабря. С потенциальными нарушителями не церемонилась теперь и телефония — номера не зарегистрированных, опять же, в столице граждан быстро отслеживались и блокировались, так что вернуть эти номера к жизни можно было, только наведавшись на малую родину, в тот самый порт

приписки. А купленные в Москве карточки имели вот такое свойство — сжигать деньги через месяц. Сколько бы на счету ни было.

Телефон должен работать, ожидая Володиного звонка. Юля должна жить. Юля должна работать. Юля должна.

Она застегнула куртку, съела верную рыбу, вкусную даже в замерзшем виде. Держась ближе к ограде, чтобы ее не видели охранники оцепления расселенного дома, Юля побежала вперед. Там было легче выйти к дороге незамеченной.

Подтянув застежки и сделав большую мужскую куртку поменьше, чтобы не привлекать внимания нероскошным внешним видом, Юля заторопилась вдоль забора заброшенного студенческого кладбища. Когда-то студенты массово бунтовали. И сначала были жестоко подавлены (и оказались здесь), затем записаны в герои, а вот сейчас просто прощены и забыты за неактуальностью их экстремистских идей. Кладбище тоже подвергалось сносу: слишком дорого иметь в черте города не заселенную никем площадь. Гудели за забором экскаваторы, рычали трактора. Но кладбище Юля прошла быстро — оно было маленьким. Прошла — и направилась к бесплатному подземному переходу (на центральных

улицах таких уже было раз-два и обчелся, а здесь все же окраина).

Скоро она затерялась в толпе.

* * *

Всякие разговоры были запрещены. Задержанные во время облавы стояли сейчас вдоль стены длинного коридора. Между ними прохаживались вооруженные полицейские охранники. Медленно очередь подтаивала на одного человека — того, кто следующим заходил за черную пластиковую дверь кабинета. Больше очередь его не видела: человек уходил через кабинет в другую дверь дальнейшим этапом.

Там, в кабинете, выясняли личность преступника — и определяли его судьбу на ближайшее и, на сколько заслужит, отдаленное будущее.

И была судьба у всех, оказывается, разной.

Судьба Володи выглядела неплохо. Подтянутый молодой человек офисного типа в гладко сидящем костюме вошел в кабинет вслед за ним. Молодого человека кабинетные люди приветствовали, потому что относились к нему с явным почтением. Он уселся за стол в дальнем углу, раскрыл компьютер и с интересом принялся рассматривать что-то на его мониторе.

Володе задавали вопросы, он отвечал. Да, отвечал, собираясь с мыслями, потому иногда подозрительно коротко, а пару раз даже невпопад. Володя думал сейчас о том, как же это будет происходить — то, когда ему придется подороже продавать свою жизнь. И не очень-то хотелось ему это представлять. Да и делать тоже. Жить вот хотелось. Но как-нибудь хорошо и свободно.

— Повернитесь, я вас сфотографирую, — произнес молодой офисный человек.

— Я? — Володя резко поднялся со стула.

— Повернитесь, а не прыгайте, — сказал, словно дернул Володю за край одежды, лейтенант, который его допрашивал.

Володя уселся ровно, несколько раз прожужжала фотокамера.

И уже через три минуты его направили через проходные комнаты кабинетных лабиринтов сидеть дальше — в узком пенальчике без окон. Рядом с ним, стараясь не присматриваться к шагающим охранникам, ждали будущего молодые ребята. Володя знал двоих из них — жителей артистической коммуны.

Через минут сорок, когда к очереди в пенальчике прибавилось еще трое, молодой человек-начальник пришел к ним с легким свежемага-

зинным скрипом красивой обуви. Вооруженная охрана проводила новобранцев, а в том числе и Володю, в неизвестность — до чистого блестящего микроавтобуса.

Из-за странного волнения — вот как, оказывается, колотит судьба, когда лепит твое будущее чужими руками, — Володя не успел прочитать, что написано на борту автобуса. Название фирмы ведь, скорее всего. Но какой? Куда выбрал его офисный красавец?

Закрытый автобус уже вез по московским улицам притихшую рабочую силу, которая сидела сейчас в удобных креслах — через одного с работниками службы охраны в черной, вызывающей почтение форме.

Володя оторвал взгляд от окна с красивой решеткой — убежать было нельзя.

* * *

В этой школе учили на господ. Желающие обучаться платили за долгосрочные или ускоренные курсы — и прилежно подъезжали на занятия, паркуя машины на удобной стоянке рядом со зданием школы. Дорого стоило такое обучение. Но еще дороже обходилось нанять настоящих слуг, которые обучались в этой же школе. Дорого

это было, да, — но престижно.

Сюда-то и попал Володя. Вернее, его добровольно-принудительно завербовали, отметив его стать, определенно симпатичное лицо и прочие явные достоинства.

Слуг давно было можно. И даже нужно — они помогали людям справляться с жизнью. Еще никто не смог внятно доказать, что эта профессия нарушает гражданские права и попирает основы демократии.

Так что вот уже неделю с лишним геодезист Володя учился быть профессиональным слугой. Он пока еще сам не мог понять, хорошо это или плохо, и в основном занимался исследованием путей возможного бегства. Охранялось тут все на славу, мышь, казалось, не прошмыгнет. Однако на второй же день после долгого тренинга почтения и угодливости Володе удалось усыпить бдительность двух преподавателей и, проскочив мимо многочисленной охраны, позвонить с городского телефона, стоящего на столе в кабинете, Юле на мобильный.

Юля была жива и свободна. Она услышала, что Володя попал мимо всех заводов, — и курсы слуг показались ей раем и избавлением.

Да и Володе сразу же тоже.

— Я вырвусь, Юля, я постараюсь! — быстро говорил он в трубку, внимательно следя за дверью. — Ты береги себя и будь на связи! Потому что я тебя точно люблю.

Володя говорил чистую правду. Да и к чему было врать из несвободы на волю?

* * *

Луиза Марданович давно жила госпожой. Учиться ей было не надо. Жизнь ее складывалась весьма удачно. Ей вовремя был куплен хороший русский муж, так что из женской половины богатого родного дома она с успехом переселилась в центральную мужниного. Дома менялись, увеличиваясь в размерах, рождались дети — две дочери и сын. И всем сейчас было хорошо — старшая дочка вышла замуж в Англию, средняя жила дома. Тут же, в Москве, находился и девятилетний сын.

Луиза Марданович беспокоилась: последний, самый новый дом был всем хорош. Но приближались новогодние праздники, а с ними визиты гостей. А какой господский дом без прислуги? Хотя бы человек десять — и не приглашенных людей на время проведения праздников, а постоянных домашних работников, преданных

хозяевам душой и телом. Вот это было стильно, вернее, это было так и надо. Тех четырех человек, которые прислуживали сейчас, оказывалось явно недостаточно. Луиза Мардановна планировала заняться подбором вплотную — а потому поручила его специалистам.

Но главное — Луизе Мардановне был необходим личный камердинер. Такие были у жен ее братьев. Имел камердинера даже муж Луизы. А у нее не было.

И вот теперь его тщательно учили — ведь именно Володя приглянулся Луизе Мардановне после того, как она посмотрела на компьютере кусочек его урока, а затем демоверсию домашнего слуги Владимира, который еще не должен был выставляться на продажу. Недоучился. Но госпожа Луиза Мардановна остановила выбор на стройном белокуром красавце — и менять своего решения не собиралась.

— Оформите мне вот этого, — махнула ручкой Луиза Мардановна, ощутив прилив радости жизни. Она всегда чувствовала эту радость, когда выбирала что-то для покупки, и ее выбор ей нравился.

Пока оформляли документы, Володя смотрел на свою первую хозяйку — на маленькую черно-

глазую женщину с кудрями, длинной жилистой шеей и тощим лицом, которое, и это явно было заметно, постоянно подвергалось тщательному, но непоследовательному уходу.

«Лучше бы купила себе новое лицо, а не меня», — с неприязнью подумал Володя и глупую женщину, для которой игра в госпожу была важнее, чем игра в молодую красавицу, жалеть не собирался. Тихая Луиза Мардановна была противная.

И скоро Володя начал служить, не оставляя попыток найти путь для побега. В доме господ все было спокойно. Хозяин бывал там редко, с позднего вечера до утра. А в основном по комнатам бродили Луиза Мардановна, двое ее детей и слуги.

Главное, как дали понять Володе, который был теперь вынужден тоже таскаться по дому вслед за госпожой, — хорошо прислуживать хозяйке, и тогда через месяц ему купят регистрацию и начнут платить жалованье.

Остальные слуги отнеслись к Володе без особого интереса, не звали к объединению против угнетателей — не подговаривали на бунт, не подсмеивались над тем, что взрослый мужчина работает служанкой. Это в сериалах прошлых

лет слуги шумно тусовались в кухне и подсобных помещениях, обсуждали хозяев, судьбоносно вмешивались в их жизнь и даже иногда имели счастье пробиться в господа. Сейчас люди держались за рабочие места так, что не позволяли себе ничего лишнего. Или это они были так хорошо образованны — решил Володя: ведь в отличие от него самого все окончили учебное заведение для слуг и имели безупречное профильное образование. В то время как он сам успел получить лишь основные навыки. И теперь был вынужден учиться без отрыва от производства.

Володя качественно производил услуги. Даже супруг хозяйки, вызвав к себе, похвалил его — таким тоном, как хвалят хорошего сотрудника. Ведь сотрудник — равный всем прочим, тогда как слуга уже нет. Володя был уверен, что хозяин будет пытать его на предмет выявления того, оказывает ли Володя своей хозяйке интим-услуги или не оказывает. И составлял в уме речь, объясняющую, насколько это невозможно. А параллельно думал, как ему придется себя вести, если Луиза Мардановна этих услуг возжелает. Но наверняка подобное или жестоко каралось этим миром (Володя так пока еще и не выяснил), или, что более вероятно, для этого привлекались более

квалифицированные специалисты. Так что он успокоился, а выслушав похвалы, еще и обрадовался. И проникся симпатией к хозяину дома, но больше почти ни разу не попался ему на глаза.

Зато госпожа Луиза Мардановна наслаждалась. Жизнь ее стала окончательно счастливой, осмысленной и обставленной правильно. Она встречалась с подругами, подруги хвалили выбор и говорили Луизе, что завидуют, — хотя на самом деле понять их было трудно. Молодые женщины, обсуждающие своих взрослых детей, пугали Володю. Как общаются с ними мужья? Как проявляют уважение? Спокойный супруг Луизы Мардановны был тих и галантен. А мужья подруг, интересно, какие? Находясь всегда возле хозяйки, Володя слышал разговоры о том, как страдали когда-то жены, удачно прорвавшиеся замуж и запертые в рабстве подобных богатых домов. Бедные!.. Дома со временем стали из богатых знатными, а дочери тех страдалиц — достойными невестами, выгодными партиями. И вот они, эти дочери, перед Володей. С ужасом ахали подруги Луизы Мардановны, вспоминая страдания своих матерей: ведь их самих совершенно невозможно было обидеть, бросить или даже игнорировать, променяв на любовницу. Семья следила строго.

Пойти поперек семьи Луизы вряд ли кто-то бы решился (хозяйка не раз повторяла это с гордостью), ее подруги также отличались родовитостью и статусом своих семей — так что мужья знали, на что шли, когда выбирали в супруги столь ценных невест. А значит, заключали подруги, жизнь их дочек будет еще более лучезарной. Вот что значит вовремя завоеванные права!

Володя слушал-слушал, удивлялся — впрочем, не забывая держать на лице выражение угодливой мужественности. Он терпел, просто терпел, уверенный, что при первой же возможности сбежит из холуев. Терпел, как терпели, наверное, разведчики в тылу врага, вынужденные надевать самые разные, в том числе и такие, личины. Так думал про себя прислужник Володя. Продолжая прислуживать.

Звонить Юле удавалось редко. Володя вспоминал ее милое лицо — и еще труднее ему было переносить презрительную физиономию хозяйской дочки по имени Джульетта. Пугали длинная, жилистая, как у матери, шея молодой девушки, большой рот, который почти никогда не двигался, что бы Джульетта ни говорила, только толстые губы чуть смыкались и размыкались, пропуская звуки. И особенно пугали длинные

ресницы — обычная девичья гордость. С ними у господской дочки был явный перебор. Если с бровями бороться было можно — выдрать, и все дела, то с ресницами сложнее. Черные и мохнатые, ресницы казались Володе шевелящимися на лице Джульетты глазными усами…

И сегодня с самого утра он то и дело видел ее возле себя. Прислуживая госпоже Луизе — то следуя за ней, когда она демонстрировала свой дом приехавшей в гости старшей дочери и ее мужу, то подавая шаль, когда она сидела за письменным столом и зябла, не согревшись хорошо сваренным кофе, поднося чулки и меняя ей обувь, — хороший слуга Володя то и дело натыкался на Джульетту. Она разговаривала с сестрой и матерью на их родном шерстяном языке, чего-то требовала, плакала.

Когда после очередной порции разговоров Джульетта выскочила из комнаты мамаши и убежала прочь, госпожа Луиза на что-то наконец решилась.

— Владимир, подойди, — велела она Володе. — Я хочу поговорить с тобой. Сядь.

Она махнула костистыми пальчиками в сторону козетки.

Речь пошла о том, чего Володя и подозревать

даже не мог. Начинался театр жизни.

Без предварительной пригласительной открытки, которую обычно в лучших домах Москвы присылают со слугой, Джульетту прозвали в гости. Просто позвонили и пригласили. Порядочная девушка ни за что не отправилась бы по такому приглашению. Но все дело в том, что это были почетно богатые родственники мужа Луизы, которые находились в Москве проездом. Всего лишь три дня они планировали пробыть в бывшем родном городе — и затем лететь на Южный полюс: в этом году это было самым модным местом для встречи Нового года. И следующий их визит в Москву планировался не раньше чем через несколько лет. Сегодня, в последний день пребывания в Москве, они устраивают вечеринку для своей дочери — девушки, которая на несколько лет младше Джульетты. Она горит желанием повидать сестричку и повеселиться по-московски.

Но нужен кавалер, с которым девочка Джульетта могла бы появиться на этой вечеринке. Такой кавалер, которого смело можно было бы представить родственникам под видом жениха. Джульетте давно пора замуж, жениха так до сих пор и не подыскали, но выдающиеся родственники об этом знать не должны. Когда же жениха

наконец найдут и эти родственники, приехав на свадьбу, увидят, что он не тот — страшного ничего не случится. Будут знать, что девочка недостатка в претендентах в мужья не испытывала. Того отвергла, согласилась на предложение этого. Жизнь.

В общем, Володя должен был сыграть роль будущего отвергнутого жениха. А о том, что он — простой слуга, никто из собравшихся не узнает. Ведь все они до этого его никогда не видели. Вызывать парня из эскорт-услуг нецелесообразно: а вдруг его кто узнает, вдруг кто-то из знакомых тоже пользовался подобными услугами — всякое может случиться. И тогда репутация Джульетты… Эх…

— Я заплачу тебе, — сказала Луиза Марданов-на Володе и назвала сумму. — Ты самый… ну… симпатичный из слуг, Джульетта тебя знает. И ты, я надеюсь, оправдаешь мое доверие. Я знаю, что это не входит в твои обязанности. Но просить тоже не буду. Это мое распоряжение.

Володя представил, как целый вечер рядом с ним будут шевелиться щетинистые ресницы Джульетты, и… согласился!

Да. Потому что решил — он сбежит! Это будет отличный, практически единственный шанс. Не

будет Луиза Мардановна просить! Ну и не надо! Игра в господ заканчивается.

— Во что я должен быть одет? — спросил Володя. Он взялся играть расчетливо-делового мужчину. Да, пусть расчетливого — но именно такому и будут доверять. — На чем мы поедем? Кто шофер? Так, мне обязательно нужно иметь с собой паспорт. Паспорт, сами понимаете, с самой лучшей московской регистрацией. Это не лично мне — это для безопасности вашей же дочери. Я не знаю, можно ли сделать регистрацию в течение этого дня. Если нет — то, госпожа, лучше, не подставляя девочку, отправить Джульетту одну.

— Да-да, — кивала, соглашаясь, Луиза Мардановна. И вертела головой: — Нет-нет! Одна никак! Я сейчас позвоню.

Она позвонила супругу. Тот телефонировал Луизе Мардановне через полчаса. Шофер с Володиным паспортом отправился в путь: в этом удобном и спокойном мире для человека мелких административных проблем не существовало. Да и с женихом вышла неувязка временная. Такой восхитительной невесте подходящий жених обязательно сыщется. Просто вот такая накладка…

Устранимая.

— И деньги — дайте мне всю сумму вперед, —

улучив момент, Володя обратился к Луизе Мардановне, натянув на лицо сладенькую улыбочку дамского угодника. Сейчас нужно показаться негодяем — это разозлит госпожу хозяйку и… тут же усыпит ее бдительность. — Сами понимаете, дочка у вас не топ-модель — так что за моральный и эстетический ущерб…

Госпожа Луиза Мардановна взвилась до потолка. Мальчик-раб критикует ее дочку! В глубине души она понимала, что Володя прав. Красота стоит денег. А ее видимость тем более. А потому согласилась — когда Володин паспорт с регистрацией вернулся, выдала стопку наличных.

Теперь Володе нужно было дождаться вечера, прибыть на вечеринку, улучить момент — и бежать!

Весь остаток дня он слушал инструкции госпожи-матери. Джульетта в предвкушении триумфального вечера моталась туда-сюда по дому, а с обеда заперлась в своих комнатах с создателями красоты и очарования.

Володя тоже был пострижен под господина, одет, для бодрости напоен рюмкой коньяка, надушен, в меру напомажен и…

Подъехала машина. Под ручку с меховой Джульеттой кавалер и раб Владимир вышел из дома.

Госпожа Луиза Мардановна, ее сын, старшая дочь и зять смотрели на него из окон второго этажа. Конечно, они больше любовались чернокудрой Джульеттой, которая очень даже ничего смотрелась рядом со стройным спутником. Она сама это понимала, а потому была весела. И даже миловидна.

За тонированными стеклами угадывалась Москва — темная в ярком свете предновогодней радости. Володя улыбнулся Джульетте, вытащил специальный хозяйский мобильный телефон, посмотрел на экран. Тридцатое декабря, семнадцать двадцать пять. Отсчет времени начался.

* * *

В это же время Юля, милая Володина Юля, тоже смотрела на экран мобильного телефона. Помимо времени и числа на экране было сообщение о том, что сегодня — срок нового платежа. Месяц прошел. Срок действия карточки заканчивался. Если деньги не внести, номер заблокируется. А новая карточка для приезжих — о-го-го какая дорогая. Так что оптимальнее продлить действие старой карты, то есть внести деньги на счет. Такой уж был тариф — иных, более удобных, приезжим, как уже говорилось, теперь специально

не продавали. Деньги Юля собрала, но не все. Оставалось всего-то сто рублей найти — и можно идти в сервисный центр.

Но ста рублей не было. Всего-то ста рублей…

Весь этот месяц Юля очень надеялась, очень старалась, очень работала. Все католическое Рождество она трудилась: стояла на улице перед входом в супермаркет внутри оленя, запряженного в санки Санта-Клауса. Юля была маленькой, юркой, а потому легко умещалась там и управляла игрушкой: в передние ноги она забралась своими ногами и переступала ими, била копытом, попрыгивала. А к задним ногам оленя тянулись рычаги. Юля дергала за них — бодрый олень взбрыкивал и задними конечностями. Дети и взрослые были довольны. Санта-Клаус раздавал подарки и поздравления. А в редкие минуты, когда никого поблизости не было, заменитель Деда Мороза, отчаянно мерзнувший в хлипком красном костюме, грелся со своим оленем водкой: заливал его прямо оленю в голову через раскрытую пасть — где-то там, в недрах этой тяжелой рогатой головы была Юля. Она протягивала из головы пластиковый стаканчик, ловко выпивала налитую туда водку — и олень бил копытами сразу как-то бойчее.

Это была хорошая работа. А через две недели наступало следующее Рождество — тоже костюмированное. В прошлом году Юле довелось быть деревянной куклой, имитирующей Божью Мать в декорациях, изображающих вертеп на площади. Это было трудно, но прибыльно: никто больше не мог так убедительно дергать руками, изображая механическую куклу, как пластичная Юля. И слякотным днем, и приморозившей ночью она качала колыбель рукой в деревянном костюме.

А вот сейчас, пожалуйста, олень. Спасибо хорошему человеку, организатору городского декоративного счастья! Юля была старательным и активным оленем. Дети смеялись, взрослые умилялись.

Так продолжалось три дня. Отстояв на улице до закрытия магазина, рождественские артисты выпили вместе, попрощались до завтра и разошлись в разные стороны. Деньги за все это должны были заплатить тридцать первого декабря. После заключительной смены. Много — за все четыре дня, но тридцать первого.

А Юле нужны они были сегодня, тридцатого. Брать в долг — не у кого. Санта-Клаус был не местный, а такой же, как она, охотник. В долг не дал. Он имел две крупные купюры — и не мог ради

Юли разменять их. Юля поняла.

Но…

Юля не хотела терять связи с Володей.

Деньги. Как и где угодно нужно было найти недостающие деньги. Которых и надо всего-то сто рублей. Всего сто…

Юля шла вдоль центральной радости. Центральной улицы, предпраздничной радости. Именно здесь, на стекающихся к главной площади улицах, казалось, успешная блестящая радость была самой концентрированной. Она не отпускала того, кто попадал в нее, нужно только было быть кредитоспособным. То есть своим.

Деньги. Раз кредитоспособным, значит, деньги. Неужели она всю оставшуюся жизнь только и будет думать, что про деньги? От этой мысли Юля даже остановилась, хотела заплакать от жалости к себе, но усмехнулась. И снова задумалась, глядя перед собой. По асфальту гнало ветром суетливый окурок. Он дергался, подпрыгивал, докуренный или самостоятельно догоревший до фильтра, никчемный, бессмысленный. Он, наверное, и сам чувствовал свою полную ненужность на земле, потому так и несся.

Юля, стараясь не проводить никаких параллелей, следила за бегом окурка. Взгляд ее натолк-

нулся на рассыпанные возле урны, что стояла у входа в клуб, цветные призывные флаеры. Какая-то развлекательная акция проводилась в этом клубе для желающих, а эти флаеры давали возможность нежелающим тоже стать желающими прийти на эту акцию, заплатить деньги… То есть реклама, обычная реклама: приходите к нам — и при предъявлении данного листка получите скидку на веселье.

Юля снова усмехнулась. Яркие листки с большими буквами АКЦИЯ сверху, очень мелкими надписями ниже и какими-то солнышками, внутри которых были нарисованы лампочки, вселили в ее сердце решимость. Она присела возле урны и принялась подбирать цветные бумажки. Она еще не знала, зачем они ей пригодятся, просто красивые, а раз в мусоре, значит, ничьи… Подбирала долго, стараясь слиться с местностью, — мимо проходил полицейский. Когда он шел совсем рядом, даже замерла, уставившись в землю. На глаза ей вновь попался знакомый окурок. Он уже лежал ровно, перестал дергаться, остепенился.

Увидев полицейскую спину, Юля поднялась и быстро пошла в другую сторону. До конца дня время еще есть. А значит, она что-нибудь придумает. Вокруг были места, где можно как-нибудь

заработать денег. Главное — найти их, эти места.

Юля шла, минуя платные пешеходные переходы. Дворами — так было удобнее всего.

* * *

Грузовая машина с хохлами и елками дерзко прорвалась в центр столицы клятых москалей. Хлопцы и сами не ожидали, что так бодро все получится. Оставив машину с елочным запасом в тупиковом повороте улицы, хлопчики отправились торговать новогодними деревьями по дворам. У всех у них были заготовлены недорого купленные на границе у специального человека недолгие московские регистрации. Не бумажки — настоящие, только рассчитанные всего на двое суток действия карты-индикаторы. При проверке дают отличный результат. Но только двое суток. Успеть — нужно постараться во что бы то ни стало успеть до окончания их срока действия. И с деньгами мчать домой.

Только у Семена не было ничего.

Он и сам не знал, как, встретив святое Рождество, оказался вдруг в пахнущей и колющей елками подпрыгивающей темноте. Подпрыгивала не темнота, а грузовая машина, которая мчалась по ледяным дорогам в сторону Москвы.

Постепенно из мрака выплыли лица хлопцев, которых Семен знал без году неделя — то ли пили вместе, то ли мимо друг друга прошли разок-другой. Они объяснили Семену, как он оказался в машине: Семеновы лепшие друзья, услышав, куда направляется мимо проходящая машина, аккуратно подсадили туда пьяного Семена и отправили в Москву — назло русским.

Перепугавшийся поначалу Семен постепенно убедил себя, что он сам по своей воле едет к москалям сшибить с них грошиков на Новый год. Где ехали, что проезжали по пути с родины в Москву, Семен не видел — сначала он спал, потом была ночь, потом утро, потом похмелье. Да и знание местности ничего бы не изменило: все равно нелегальный Семен прятался в елки. Он исколол лицо, руки и опух — стал почти неузнаваем. Но сверить его личность с подтверждающим документом было нельзя — этого документа у Семеновой личности не было в наличности, остался он в хате ридной мати.

Хлопцы-торгаши не сразу узнали об этом. А когда узнали, хотели Семена из машины выкинуть. Но доброта победила — надо же кому-то было оставаться товар сторожить.

Так вот и сидел сейчас Семен под невысоким

брезентовым тентом. Темно было среди елок, считай, как в лесу. И холодно. Ждал Семен хлопцев, которые ушли с утра, а уже стемнело, прислушивался к улице, представлял, что там сейчас москали в их хваленой Москве выкаблучивают. И ничего не мог представить.

И тогда Семен решил выглянуть. Стараясь не помять, не подавить елки-гроши, он пробрался к краю, где брезент не был закреплен — оттуда дрожала полоска света. Сначала Семен приник к щели только глазом — и сразу закатил его вверх.

На темно-прозрачном небе сияла полная луна. Семен долго смотрел на нее, родную, вынужденную светить сейчас на кацапскую столицу, и боялся перевести взгляд куда-то еще: вдруг там все такое другое, что и смотреть-то нечего, тьфу! Но постепенно Семен скосил глаз вниз, увидел мелькнувшие фонари, угол дома и снег. Ровный, видимо, с утра упавший. Семен раздвинул лицом брезент и поднял на небо оба своих глаза. Теперь под луну подкатилась пышная серая тучка, и казалось, что луна уселась на нее как на подушку.

Семену стало спокойнее, тревога чуть улеглась. Он старался не думать о том, зачем же его принесло в этот треклятый холодный кацапский городишко! В жизни Семен вообще думал редко, а

чего зря думать? Вот и сейчас — начни он думать — да хоть обдумайся, изменить-то уже ничего нельзя, надо сидеть ждать. И все.

Семен уже собрался поясно высунуться на улицу и обследовать то место, где стояла машина. На предмет еды — может, продают где. У Семена было сто русских рублей — хлопцы на крайний случай ему оставили. Поэтому вполне можно выйти, купить съестного — и снова на пост к елкам! Ведь сейчас наверняка только непоздний вечер, так что…

Но с улицы послышались шаги — и Семен отскочил от щели. А вдруг это полиция, которой нужно было бояться, как беса! Машину умные хлопцы поставили так, что номера ее можно было увидеть только специально приглядываясь: задом она почти упиралась в стену, а носом смотрела в мусорный бак. Только так удавалось разглядеть, откуда прибыл грузовик, только если присматриваться… Но все равно — бойся, Семен, злых полицеймаков!

А кто его знает, кто там по улице идет?

Долго лежал Семен, пережидая свой страх. Сколько долго, непонятно: часов-то у него не оказалось с собой, а хлопцы оставить не удосужились.

Семен опять подумал о еде. Очень хотелось есть, очень. Надо идти. Что ему говорили: можно отлучаться от машины или как? Семену было очень холодно, и он не помнил. Холодно и поесть, холодно и поесть… Елки грели все хуже, хотя им-то какая разница, но грели они точно хуже. Или это у Семена кончалось, что ли, жизненное топливо.

Он смело выглянул, снова одним аккуратным глазом. О-о-о, все было уже не так. Никакой луны в небе не оказалось. На ровный старый снег газона падали тени нового снега. Новый снег шел на крышу машины — Семену показалось, что у него на глазах от падающих теней снега становилось больше и больше… Интересно — это в самом деле так или нет? Как понять? Просто надо в другую сторону посмотреть!

Семен перелез к другому углу, еле сгибая замерзшие пальцы, отстегнул и отогнул от борта продубевший брезент — и смело выглянул всей головой. Что-то там было за поворотом, люди, наверно, жизнь, еда, магазины, рынок…

А там большие снежинки косо падали — сначала посылали вперед себя тень, а за ней и сами приземлялись. Фонари подсвечивали — яркие, ух, яркие, Семен и не помнил, были ли такие у

него на родине. Нет, там, конечно, фонари тоже были лучше.

Но пойти поесть хотелось прямо сейчас. Только как же быть — ведь вдруг он вернется, а машины нет как нет, угнали. Или вокруг полиция поджидает, чтобы хватать?!

И Семен, думая и теряя эти думы свои, думы, сидел и смотрел, как падает снег. Он уже давно убрал голову внутрь кузова, брезент сомкнулся, наступила темнота. Но Семен все равно смотрел на падающий снег, потому что и в темноте видел его.

Падая и падая, снег тихо кончился. И усилился, да, — усилился мороз.

К Семену подобрался ледяной и голодный сон. Спать — спать под неслышную музыку снега, под успокаивающее тепло. Вот что хотелось Семену. Семен замерзал.

* * *

А Володя блистал. Ему говорили об этом и родственники Джульетты, и их дочь, и другие гости. Он танцевал с девушками, он перебрасывался вежливыми фразами с молодыми людьми и их отцами, говорил комплименты маменькам — благо отцов и матерей на вечеринке было мало и

они предпочитали общество друг друга, не мешая молодежи. Володя вполне вписывался в интерьер и атмосферу — как и предполагала Луиза Мардановна. Под вечеринку был снят банкетный зал гостиницы, танцпол, а также примыкающие к ним помещения, так что праздник был прекрасным. Володя от пуза наелся, умело делая вид, что ест совсем чуть-чуть. Этому он быстро научился. Вкусно было, что и говорить, а господа ели мало. Ну и он мало — уж таким артистом Володя стал или спецагентом. Что, казалось ему, почти одно и то же.

И, главное, он ни на минуту не отпускал от себя Джульетту. Это все с большой приязнью отметили. Поэтому получилось так, что Джульетта, а не ее кузина оказалась в центре внимания.

— Вы прекрасная пара! — заявил отец кузины. — Джульетта, ты сделала правильный выбор.

Проинструктированный Луизой Мардановной, Володя умело обходил разговоры о своих родителях и их бизнесе, ничего не рассказал и о себе — и образ малоразговорчивого, спокойного и мужественного героя пришелся всем по вкусу. Всем и так было понятно — плохого жениха родители Джульетты не одобрят. А потому — все в порядке.

Володя даже услышал о себе уважительное: «Порода…» Здорово!

Молодой герой танцевал и с кузиной — ясноглазой белокурой малышкой примерно шестнадцати лет. В отличие от Джульетты девочка была проста и добра.

Володя даже пожалел, что не она хозяйская дочка.

Что? Он уже спокойно может размышлять, что бывают дочки хозяйские, а бывают нехозяйские?! Он спокойно мирится с тем, что у него есть хозяева, ХОЗЯЕВА!!! А у хозяев дочки???

Подумав об этом, Володя остановился посреди танца, какая-то пара натолкнулась на него. Ясные глазки девочки в недоумении уставились в его глаза — беспокойно забегавшие.

Юля. Что делает Юля? Где она? Уже давно он не звонил ей, не удавалось — а она ждет звонка. Наверное, на телефоне кончились деньги. Или… ее схватили. Задержали. Увезли. Володя представил, как среди гостей появилась бы сейчас Юля — и любое из платьев, что он видел на здешних девушках, смотрелось бы на ней гораздо красивее… Володя усмехнулся, вспомнив, как на днях припрятывал для нее то, что выкинули господа: купили Джульетте маечку, а той она не понрави-

лась. Полетела в мусор, а Володя подобрал. Как отбракованную хозяйским сыном мочалку в виде бегемотика схоронил под кроватью — новую, в упаковке, Юле пригодится… Нет, не пригодится — если Володя сегодня прямо отсюда бежать собрался. Ерунда — эти милые мелочи он купит Юле на собственные деньги.

Хорошая, любимая Юля! Где она живет сейчас? Мерзнет, нет? Что ест? Конечно, она ждет его. И Володя ждет ее. И он к ней убежит. Он все продумал, он все проверил, он все здесь помнит. Хорошо, что это гостиница.

— Извините, мне надо позвонить, — улыбнулся Володя девчушке, едва смолкла музыка.

— Ага, — кивнула она согласно.

Добрая хорошая малышка. Пусть у нее все будет хорошо.

Володя подвел виновницу торжества к столику, усадил на стул, вытащил хозяйский мобильный телефон. Собрался набрать Юлин номер.

Но подскочила Джульетта.

— Пойдем, я хочу мороженого, — тихо приказала она.

— Но я хотел позвонить… — начал Володя.

— С нашего телефона? Кому это? — Джульетта чуть притопнула ножкой — и так на Володю

посмотрела, что на миг ему даже показалось, что перед ним сама Луиза Мардановна. Ну вылитая мамаша была сейчас юная Джульетта. Дернула жилами длинная шея, зашевелились длинные мохнатые ресницы-гусеницы…

Володя элегантно взял хозяйскую дочь под руку и направился к мороженому.

Вокруг ничего не изменилось. Все по-прежнему верили, что он из благородных, заводили с ним разговоры как с равным. Девушки болтали с Джульеттой, окружив ее, бросали завистливые взгляды на Джульеттиного «жениха», даже кокетничали с ним, но он вел себя преданно — и им нравилось это еще больше. Да, Володе приходила мысль о том, как отреагируют те, кто придет в гости к Луизе Мардановне или скорее к Джульетте — и увидит его, домашнего слугу Владимира. Ему-то плевать, а остальное — проблемы госпожи-затейницы. Володе даже весело стало, когда он представил скандал в благородном семействе. А пока он продолжал элегантно мелькать среди гостей.

И ведь чем, подумал Володя, он хуже всех этих людей? Ведь когда-то кто-то из их предков тоже начал с нуля! Тоже начал подниматься. Шаурмой торговать, палатки по Москве ставить, рынки

осваивать. Поднялся, вышел в люди — и вот теперь весь этот блеск для его потомков. Почему бы ему, Володе, не постараться? Не подсуетиться и не выбиться? А способы — способы могут быть любыми. Ведь зачем-то он приехал в Москву?!

А сейчас… Сейчас ему просто дается шанс! Не воспользоваться им нельзя. Пусть он, конечно, никогда и не станет мужем длинношеей Джульетты из знатной богатой семьи (да и на фиг эта Джульетта!). Но ведь шанс! Шанс!!! А девочки есть очень симпатичные — вот хоть кузина! Она уедет, но останутся другие. Регистрация у него уже имеется. Ничего, что он слуга. Судьба специально заслала его в лакейскую школу! Вот оно, провидение, показало ему жизнь и возможные подступы к ней! Не воспользоваться этим шансом — преступление…

— …А от нас к вашей будущей свадьбе будет вот такой скромный подарок, — сквозь клубы мыслей услышал Володя, не переставая держать в руке вспотевшую ладонь хозяйской дочки. — Володя, Джульетта, держите эти документы… Здесь нужно только вписать дату вашей свадьбы — и с этого дня бунгало на острове Андикитира будет принадлежать вам!

С этими словами отец кузины вручил Володе

и Джульетте несколько бумажек в красивой пластиковой папке. Джульетта без энтузиазма взвизгнула, захлопала в ладоши, бросилась обнимать родственников. Володя присоединился к ней.

Бунгало, им было подарено целое бунгало на побережье теплого Эгейского моря в личное владение — мозги Володи задымились…

* * *

И вот они — хлопцы, наконец-то пришли хлопцы! И какие же молодцы, Семен такого просто не ожидал. Принесли они ему настоящий подарок — видно, хлопчики так хорошо отторговались, что решили купить и с радостной песней преподнести Семену эдакое чудо: огромный многослойный торт. И не простой торт, а какой и не увидишь в порыве самой безграничной мечтательности. Каждый слой этого прекрасного торта был из нежного, белого, свежепосоленного сала, да к тому же хорошо промазан сладкой горчицей с грецкими орехами. Слои были переложены тонкими ломтями как следует прокопченного мяса, а на мясо щедро навалено хрена с буряком. По высоким бокам торт был узорно расписан густым острым кетчупом и жирным майонезом. А

украшения, затейливые украшения на торте! По центру возвышался красный соленый помидор в майонезной сеточке, а на вершине его тончайшие ломтики сала образовывали многозубчатую корону.

Узлами и вензелями переплеталась по торту черемша, симметрично друг другу возвышались цветочки из свежего бело-желтого чеснока; чесночок розовый маринованный, кольца лука и мелкие соленые огурчики составлялись в украинский народный орнамент. Тут и там были разбросаны зеленые горошины и рассыпаны зерна радостно-желтой кукурузы. По самому краю торт выложили проперченным как надо шпигом, обсыпали корицей, порубленным яйцом и радующим глаз мелко нашинкованным зеленым лучком.

— Це мрия! — с восторгом воскликнул Семен и протянул руки, чтобы принять торт.

* * *

Карьера начиналась. В кармане Володи лежала тонкая, но все-таки стопка визиток — самых разных людей. Его приняли за своего, а это много. Джульетте спасибо. И особенно матери ее спасибо большое.

Впереди сияла жизнь, настоящая жизнь. Красота и стать — это тоже товар, и, пока все это у него есть, Володя должен обменять их на хорошие перспективы. Ведь надо только грамотно выстроить план, просчитать несколько ходов вперед — и можно уже не подстраиваться, не прислуживать и не бояться. А идти вверх. Возвратиться в бедность и унижение проще простого. А вот шагнуть вверх — это непросто. И уверенно шагнуть, грамотно…

Последние сомнения покинули Володю.

Сомнение «Юля»… Что ж, Юля его поймет. И будет стремиться вверх сама. Без него. Ведь когда-то, до их встречи, она была одна и как-то выбиралась. А уж после, в счастливом будущем, он ее когда-нибудь найдет. Поможет. Поддержит. Обязательно.

Но каждый за себя.

Джульетта повернула к Володе голову, для чего изрядно напрягла жилы на шее, взмахнула ресницами. Володя поцеловал ее. Вокруг все захлопали. Двоюродная сестричка бросилась обнимать Джульетту. И внимание переключилось на белокурую малышку-кузину.

Хозяйская дочка хлопала большим ртом и суперресницами, говорила-говорила. Володя не

слышал ее, но в такт поддакивал. Перед ним сияло будущее.

* * *

В этот же миг Юля споткнулась на дорожной наледи. Упала, треснувшись лицом. Что-то словно оборвалось внутри нее. Она поднялась, но сил почему-то не было.

«Поесть! — тут же вспомнила оптимистка Юля. — Я забыла поесть! То есть не забыла, конечно. Но будут деньги, поем обязательно. Проблем-то! А в остальном-то ведь все хорошо».

Но тяжесть пустоты не оставляла ее. Найти денег захотелось еще сильнее. Чтобы увидеть Володю, чтобы оставить его рядом с собой и не расставаться с ним никогда. Для начала денег на телефон, а после… Она уже все придумала, как они станут жить с прекрасным Володей, как наладится их маленькая, скромная, но своя свободная жизнь.

Однако рюшечкой по краю этих стратегических мыслей строчилось все то же: «Только надо денег. Деньги… Неужели я всю жизнь только и буду думать, что про деньги? Буду. И любой ценой найду их. Особенно сейчас».

* * *

— Мрия! — повторил Семен.

Руки его воткнулись в пустоту. Семен проснулся от своего собственного громкого крика. Никакая это была не мрия (в смысле мечта). Не мечта. Или нет — пустая мечта…

А перепуганный Семен, замерзшее и голодное тело которого еле слушалось, бросился проверять, что происходит. Он высунул голову из брезентовой щели.

И вот тут-то проходящая переулком Юля его и заметила!

Круглая вислоусая ряха сразу привлекла ее внимание. А после короткого, но более пристального взгляда на Семена Юля поняла: его можно развести.

— Не бойся! — твердо, но негромко крикнула она.

Потому что физиономия Семена спряталась.

— Давай поговорим, я тебя вижу! — добавила Юля, подходя к самой машине.

Конечно, она его не видела, но Семен сейчас этого не понимал.

В его голове метались мысли. Что от него хотят? Ему нужно выходить? И куда — сдаваться?

Он понимал, но не все, что говорили по-русски. Однако сам сказать ничего не мог. Когда-то, когда еще мог, принципиально не хотел. А теперь то ли совсем забыл, то ли замерз, то ли оголодал…

— Эй, чего скажу! — задорно несся с улицы голос Юли.

Семен, конечно, не знал, что она начала игру, что теперь Юлю от него клещами не оторвать. Но пока он просто сидел среди елок, переваривая в голове простые русские слова, похожие и не похожие на его родные-прекрасные.

— Скажи, это твоя машина? — с интересом спросила тем временем Юля.

Тут уж Семен почему-то не утерпел (то ли чувство коллективной собственности взыграло, то ли страх), но он тут же высунулся и заявил:

— Моя.

— Хорошая! — с восторгом похвалила Юля. — А чего сидишь-то, не выходишь?

Семен попытался подобрать что-нибудь значительное, чтобы кацапка поняла — он тут не просто так, а важный человек. Но никакого другого слова не вспомнил.

— Бизнес, — значительно сказал он.

— А, бизнесмен, значит, — понимающе закивала Юля.

Семен обрадовался — удалось! Высунулся еще сильнее, попытался подбочениться, взялся за обледеневший брезент. До чего холодный — Семена-бизнесмена аж передернуло.

— Замерз? — посочувствовала Юля. — Да, бизнес — дело тяжелое.

— Ох, — вздохнул Семен.

— А какая лицензия у твоего бизнеса? — голосом доброго инспектора поинтересовалась Юля. — Есть она, есть лицензия?

Семен тут же испугался. Думал, просто дивчинка, а она — «лицензия»! Опасно. Сейчас арестовывать начнет или других инспекторов наведет. Хлопцы придут, а тут…

— Так, так, так! Лицензию маю! — часто-часто закивал Семен.

— Это хорошо, — одобрительно сказала Юля. — Так, а отопление у тебя в машине хорошее? В смысле — тепло у тебя? А? Тепло?

— Мэрзну, — развел посиневшими руками заезжий бизнесмен.

— А это потому, что ваша страна не участвует в акционировании природных энергоносителей, — заявила Юля, сурово ткнув пальцем в сторону Семена.

— Э… — Семен снова развел руками: что-то

о протянутых по их свободной стране русских газовых трубах он слышал. Но мало. Энергоносители — это оттуда же? Или что-то другое? Он поежился и ничего не ответил. Но почувствовал себя виноватым.

Юля это тоже почувствовала. Она вытащила из кармана стопку приглашений в ночной клуб, вышла поближе к Семену и свету фонаря, показала эту стопку бизнесмену, сидящему на елках.

— Ты хочешь, чтобы у тебя было тепло? — голосом агитатора спросила она. — Тепло! Ты сидишь, и тебе тепло! Ну? Тогда приобрети акции главного энергоносителя Земли — и сразу солнце обернется к тебе своей горячей стороной! Прямо сейчас — и ты согреешься. Тепло — что может быть важнее? Каждый бизнесмен Москвы приобрел себе эти акции. Некоторые брали по несколько тысяч штук — и теперь солнце будет светить только им! В Москве нельзя без таких документов, энергия не бесплатная. А владеешь акциями — владеешь правами. Да, а тебе может и не хватить, кстати… Все, акции кончаются. Бизнесмен, решайся. Мне нужно спешить. Ну, сколько тебе акций?

Слова «акции», «в Москве нельзя» и «бизнесмен» создали брожение в голове Семена. С одной стороны, он понимал, что никакой он не бизнес-

мен, нечего завирать. А с другой — то есть что тут, в Москве, солнце теперь светит не всем, а только тем, кто за него заплатил? Может, он просто не все понял, что девица трещала на своей собачьей мове…

— Акции небесного электричества! — продолжала кричать Юля, размахивая листками с крупными буквами «АКЦИЯ». Деньги у хохла есть, это чувствовалось. Еще чуть-чуть, и она их выманит. Много не надо, сто рублей — и будь здоров. А что после делать с купленными бумажками — сам придумаешь, уважаемый…

— Э-э-э… — вновь проблеял Семен, почесал подбородок и дернул себя за ус.

— Бизнес считается незаконным, если бизнесмен НЕ предъявит акций на небесное электричество! — наступала Юля. Она была уже в полуметре от машины. — Это значит, что он незаконно пользуется природными энергоносителями. А за это что? Суд, тюрьма.

Семен чуть из-под брезента не вывалился. Ну и порядки в России! Суд, тюрьма… У него была при себе сотня здешних денег. Много это, мало, он не помнил.

— Да ты, наверно, никакой не бизнесмен! — звонко и как-то презрительно крикнула Юля.

— Бизнесмен! — национальная гордость не позволяла Семену согласиться с тем, что он никто — просто елки сторожит. Да и то — никто его об этом особо и не просил…

— Ну, так сколько тебе нужно акций?

— Почем?

«Готов!» — обрадовалась Юля.

— А сколько ты возьмешь?

— Э-э-э… Две, — с достоинством ответил Семен, прикидывая, что одно солнце ему пойдет греться на день, а другое — на ночь. Холодно, уж очень холодно ему было. И думать хотелось только о тепле.

— Пятьдесят рублей штука, — ответила Юля, быстро отсчитывая и протягивая Семену две «акции». — С тебя, бизнесмен, сто рублей.

Семен, долго копаясь ничего не чувствующими руками в карманах, вытащил смятую деньгу, протянул Юле.

— Отлично, — шустро пряча добычу, воскликнула она. — Назови свое имя, фамилию.

Семен назвал.

— С этого момента ты становишься полноправным акционером небесного электричества. Свет звезд, луны и, главное, солнца теперь твой! Ты можешь греться им по праву! Счастливо, акционер!

Она уходила. Она уже почти ушла. Но зачем-то оглянулась.

Семен высунулся из-за брезента почти весь. В свете фонаря он внимательно, шевеля губами и водя пальцем по строчкам, читал то, что было написано на его акциях.

А к нему с противоположной стороны подходил наряд полиции.

— Ну, шо це таке? — забыв, что он на улице, сам у себя спросил Семен, продолжая рассматривать москальские письмена.

И трое полицейских это услышали.

— А ну-ка вылезай, — скомандовали они Семену.

Тот медленно перевел на них перепуганный взгляд.

Так что из-за брезента Семена выволокли. И поставили на снег.

— Давай документы. Откуда приехал? Когда? Где зарегистрировался?

Вопросы сыпались со всех сторон. Семен не знал на них ответов и не успевал думать и соображать. Молча протянул полицейским только что приобретенные акции.

— Это что у тебя такое? — удивился самый главный. — Документы?

Семен кивнул.

Все трое склонились над документами, подтверждающими права Семена на владение небесным электричеством. Смеялись полицейские недолго, но от души.

— Ты давай документы свои показывай!

— А не проходку в клуб.

— Ишь, тусовщик.

Быть акционером небесного электричества оказалось не так удобно.

— Не разумею… — выдавил Семен, глядя в глаза полиции.

— Не разумеешь, значит? — удивился самый молодой, гораздо моложе Семена, москальский ментюк.

— То есть не понимает, — пояснил ему другой.

— Но как же так? — искренне удивился молоденький. — Как же ты не понимаешь? Мы же общие друг другу. Мы эти… Славяне! Братья-славяне! Ладно, чурбаны не понимают, но ты-то!..

— Ха — не понимают! — усмехнулся второй. — Они-то как раз очень хорошо все понимают. А ты-то что ж, усатик? Вот из-за таких, как ты, нам теперь они братья, а не вы… Гордый какой. Ну, что молчишь? Так говорю или не так?

Семен в ужасе развел руками. Что, что им

сказать? Говорят спокойно, против него вроде ничего не имеют. И — жалеют его, что ли… Пойми вот. Семен пожал плечами и совсем по-русски сказал: «Эх…»

— Притворяется, незалежный, — с сожалением посмотрев на Семена, подвел итог встречи третий. Самый главный. — Давай, топай с нами.

Двое других подтолкнули Семена под бока.

Семен не знал, что если бы полицейские так не расстроились тем, что он их не понимает, они вполне отпустили бы его. Им выдали в отделении замечательную и неожиданную премию. И к тому же совершенно не обязательно было никого хватать и приводить — их смена вот-вот должна была закончиться, и шли они в это же самое отделение, чтобы сдать дежурство. А тут такая незалежная насмешка над славянским братством… Русские ребята обиделись.

Юля тоже поняла, что Семена ведут наказывать. А ведь если бы она его не обманула, он бы затаился в недрах промерзшей машины — и все бы было хорошо. Или отдал бы он наряду полиции свои деньги — его и помиловали бы? Почему он не предложил отступного? Видно, деньги, что она забрала, были последними… Гордый укр — да не догадался бы взятку дать? Значит, денег у него

больше не было.

И ей стало Семена жалко — ведь он был еще более бесправным, чем она сама. Дурак, он ведь просто из-за своей спеси повелся на ее слова…

Неведомой морзянкой азбуки совести застучали в ее голове мысли: а можно ли добиваться счастья себе, обманывая и подставляя другого? Доверчивого обмануть легко, но как тогда пользоваться результатами победы?

Семеновская сотня жгла карман. День завершался. Взнос за телефон без этих денег отменялся.

— Подождите! — крикнула Юля вслед удаляющейся в темноту группе.

* * *

Вечеринка была в разгаре. Джульетте звонила мать, та сообщала ей, что все прекрасно. И действительно была счастлива.

Счастлива… Володя вдруг отчетливо вспомнил, когда был счастлив и он — счастлив абсолютно. Они ездили с Юлей на море, сидели на камнях — и волны разбивались о них, обдавая Юлю и Володю брызгами. Теплыми и приятными. Они мечтали, строили планы — и эти планы казались осуществимыми. Не Москва, для жизни подошла

бы им, конечно, не Москва, она должна была только дать денег, чтобы появилась возможность начать жить. Свободно и весело. Они оба были трудолюбивыми, непрерывная работа не пугала их. Мечта имела варианты, но одно оставалось неизменным — Володя и Юля собирались быть вместе. И это «вместе» очень нравилось Володе, казалось ему единственно правильным, нужным способом существования. Да — только с Юлей он был счастлив. И быть счастливым ему нравилось.

«Да что я, очумел, что ли?» — вдруг подумал Володя. Он с тоской оглянулся вокруг — и заскучал. Честное слово, легче было прислуживать Луизе Мардановне, чем делать вид, что ты равен всем здесь. Время жизни, одной-единственной жизни, будет потрачено на то, чтобы забраться туда, к ним, вверх. И это ради каких-то мифических потомков. Ведь может так случиться, себе-то пожить в богатстве или не придется, или просто расхочется. От усталости.

А между тем Джульетта расслабилась и потеряла бдительность: вечер ведь ох как удался! И сейчас она, оставив кавалера, порхала где-то с подружками.

Все пути отступления Володя продумал, а за-

тем тщательно осмотрел. При нем был телефон, половина гонорара (вторую хозяйка все-таки прижала и пообещала выдать после завершения операции). Жалованье ждало его первого января, ну да бог с ним! Хватит и этих денег. А скоро он и новых заработает!

Да, Володю будут искать, а уж что ему за этот побег грозит… Господа неохотно расстаются с тем, что служит их хорошей жизни. Лучше не думать…

«Мы уедем с Юлей! Свет, что ли, клином сошелся на этой Москве? Мы что-нибудь обязательно придумаем! Земля большая, уж я-то знаю!» — думал Володя. Он любил землю, небо и вольный ветер.

А еще Юлю. Конечно, он любил своего маленького стойкого солдата! И пусть сейчас Володя проиграл битву за Москву. «Я выиграл свободу. Да, выиграл волю», — думал он, походкой предводителя жизни проходя мимо гостиничной обслуги. До улицы оставалось совсем чуть-чуть. Перед ним с поклоном распахнули дверь — и все той же горделивой походкой Володя устремился спасаться. В костюме, без верхней одежды, как, собственно, и приехал на праздник, — ну да ничего, постарается не замерзнуть, при первой

возможности поймает такси, одежду купит, все не проблема.

Бежать он будет после — а сейчас он шел со спокойной величавостью принца — будущего короля.

И ведь ушел, ушел! Только его бывшие хозяева пока об этом не догадывались.

* * *

Бежала по улице и Юля. Она разозлила всех трех полицейских — сначала предлагая деньги за то, чтобы ребята отпустили несчастного украинца. А затем, обозвав нехорошими словами всех троих (чтобы каждый оскорбился и захотел ее поймать), понеслась прочь. Бегала Юля быстро.

И, бросив Семена, полицонеры погнались за ней. Даже свистели в свистки. Напрасно Юля переживала, что кто-то из них останется охранять Семена. Помчались.

«Ну, что? Спасся, кажется, бедолага, — подумала она, оборачиваясь напоследок и видя, что Семен быстренько забирается под брезент. — А мы побежали!»

И она неслась по улице. Полицейские бежали за ней. Или за деньгами. Или за славой. Или за порядком в городе — неизвестно. Но бежали.

* * *

Семен, дрожа ногами, руками и животом, огляделся. Посмотрел на свои акции, посмотрел на небо. В морозном небе ярко и празднично горели звезды: бесплатное небесное электричество. Или все-таки теперь небесплатное? Ведь за них он сегодня заплатил, а потому может пользоваться московскими звездами на законных основаниях? Наверно, так.

Семен деловито забрался в елки. Хитрая кацапка выманила на эти акции последние его деньги. Лучше бы он не платил за них — а нагрел бы на небесное топливо клятых москалив! Вот это было бы правильнее. А то вот оставила без денег… Семен проклинал девицу вместе с московскими собаками-ментами, глядя через отошедшую от каркаса узкую щель вверху тента на прекрасные звезды.

Сидел, трясся — и не знал, что к нему уже спешили родные хлопцы, которые втюхали глупым москалям все елки. Что в кузове скоро вновь станет тепло, весело — надышат, насмеют, напукают… Что завтра с утреца, когда включится в работу главный генератор небесного электричества, хлопцы постараются распродать елочные

остатки — и можно будет подаваться на милую родину.

Снова проваливаясь в сон, свободный Семен с негодованием подумал: почему солнце светит не одним его сородичам, а еще и всяким москалям и обманщикам? Это несправедливо!

* * *

Юля шмыгнула в подворотню, за которой начинался забор новостройки. Дальше — в подвал. Она хорошо знала подвалы. Хуже чердаки.

Конечно, она уйдет, она не даст себя поймать. Она будет жить.

Подвал шел все глубже и глубже…

В этот момент Володя, проносясь над Москвой в салоне легчайшего скоростного метро, набирал на мобильном телефоне Юлин номер. Номер был временно недоступным, и Володя не знал, что это не навсегда, а пока только из-за подвала, в который не проходил сигнал. В полночь Юлин телефон отключится — и этого Володя не знал тоже.

Юля тоже не догадывалась о том, что ей звонит Володя, но сейчас так было даже удобнее — полиция не слышала звонка на ее телефон и потому не могла вычислить. Юля затаилась. Прислушалась.

И затем вновь побежала. Вверх по ступенькам. Погоня затерялась в подвальных недрах.

«Позвоню позже», — подумал Володя, сбегая с платформы и спускаясь в круглосуточный торговый центр.

Москва была большая, а Земля круглая. Юля и Володя продолжали бежать. И, если это будет нужно, они обязательно встретятся.

Наталья Осис
Белье на веревке

Ваня открыл глаза, но в вязком предрассветном сумраке ничего не было видно. «Какой же гнусный месяц этот февраль!» — подумал он и собрался было снова заснуть, как вдруг понял, что проснулся он на самом деле от того, что не слышал звука дождя.

Дождь терзал его слух весь последний месяц, он шуршал, барабанил, долбил, ввинчивался в стекла и в мозг. Ваня ненавидел дождь. Он переехал сюда, в Италию, из Лондона по одной только причине — чтобы уехать от дождя. И вот пожалуйста, уже месяц здесь с неба льется вода….

Пожалуй, причина была не единственной, но Ване сейчас не хотелось об этом думать. Он решил не думать, а слушать: а ведь действительно не слышно, нету его — не льет, не сыплется, на каплет. Очень тихо, стараясь не шуметь и не спугнуть чуткую тишину, он оделся, поставил на огонь кофейник и, поджидая кофе, стал разглядывать небо. Небо было однообразно-серое, и невозможно было понять, что это за серость

— мокрая хмарь или обычные предрассветные сумерки.

Он открыл было страницу с прогнозом, но тут же закрыл ее обратно. «Продлим жизнь без дождя! — решил он. — Продлим жизнь…» Ваня вспомнил, что его мама была жива для него дольше, чем для других. После первого курса (в начале девяностых) он уехал в геологическую экспедицию — далеко, в тайгу, в Зауралье. А когда вернулся, узнал, что маму похоронили. Ваня съездил и посмотрел на холмик среди серых и черных могильных плит. Мама никогда не выбрала бы такое место. Мама там никак не могла быть, а значит, она была с ним все это время. Было бы лучше, чтобы экспедиция длилась еще дольше, тогда и мама бы пожила еще — хотя бы для него одного.

Ваня так и не узнал, смог бы он снова поехать в экспедицию или бы всю жизнь боялся недосчитаться, вернувшись, тех, кого он оставил. Но всего за один год между его первым и вторым курсами деньги у науки закончились, экспедиции — тоже, зато началась эра Интернета, и для Вани вспыхнули и затрещали фейерверками новые возможности. Геология в соединении с Интернетом открывала головокружительные

перспективы. Случайно оказавшемуся среди первых разработчиков геоинформационных систем, Ване не нужно было ничего специального делать — только ловить волну и держаться на гребне, что он и проделал потом с большим удовольствием на пляжах Калифорнии, когда работал в Силиконовой (а на самом деле Кремниевой) долине.

Кафетьера издала тонкий свист и заплясала, громко булькая, на плите.

— Buona, buona! — сказал ей Ваня. — Кафетьера была новая, итальянская и по-русски пока не знала, поэтому немножко капризничала. Впрочем, почти все предметы, жившие с Ваней, требовали к себе особого внимания. «Для меня предметы становятся как люди — наверное, это потому, что я живу почти без людей. Зато люди для меня живут дольше, чем для других». Мысль была тяжелой, как серая муть за окном, и Ваня быстро запил ее сладким, крепким кофе.

Последний раз это случилось с Аксеновым. Ваня тогда еще читал бумажные книги и случайно прихватил в магазине в Москве какую-то новую книгу кумира своей юности — Василия Аксенова, а потом не спеша, с удовольствием читал ее целый год. И целый год думал об Аксенове, о его жизни, о том, что и Аксенов вот так же скитался,

переезжал из одной страны в другую, но никогда не переставал быть русским — и твердил, твердил все о том же: Пушкин, Мойка, Окуджава, как жаль, что вас не было с нами… А потом оказалось, что весь этот год, пока Ваня вел мысленный диалог с Аксеновым, тот был уже мертв.

«На фоне болезней, смертей и плохой погоды…» — открылось Ване в телефоне, куда он по привычке заглянул, пока пил кофе.

«Все, — решил он, — хватит соцсетей, надо выйти куда-нибудь отсюда, хотя бы продуктов купить, пока снова не полило».

— Привет, друзья, — сказал он своим любимым ботинкам. — Это дождь виноват, дождь, зима и серый рассвет.

Ботинки были старые, заслуженные, не промокали, не просили каши, никогда не подводили и здорово помогали в самый тяжелый и дождливый день. Много ли людей могут похвастаться такими друзьями? А у Вани были такие друзья-ботинки. Но некому было хвастаться.

Все еще думая о своих ботинках, он вышел и огляделся. По краям небо все еще было грязно-серым, но в зените оно уже наливалось бледной голубизной — совсем как в средней полосе России. Ваня окончательно повеселел и направился

в порт — ему вдруг захотелось посмотреть на линию горизонта, скрытую в городе домами.

В порту дул крепкий ветер, нагибал пальмы и сбрасывал в море тучи. Небо прояснялось. Ваня натянул поглубже капюшон и отправился в обход Старой Гавани. Ветер разгонял не только тучи, но и людей, собак и чаек. Все прятались и ждали, что будет. И сколько бы ни был Ваня счастлив подставлять лицо этому ветру, ложиться на него грудью, идти навстречу ему как в гору, но даже ему приходилось забегать то и дело в кафе, чтобы отдышаться под клекот и треск итальянцев, сбившихся в стайки, как птицы, пережидающие непогоду. Под конец он сдался, сел и раскрыл газету.

Итальянские газеты ему не нравились, и вообще газеты не нравились, но пришлось привыкнуть — рано или поздно любой человек, живущий в одиночку, привыкает спускаться по утрам вниз в бар, заказывать кофе и открывать газету.

«Уеду, — внезапно решил Ваня. — Ну и что, что я только что приехал, но этот дождь и эти бестолковые газеты (на первой полосе были финансовые катастрофы, на второй — сексуальные скандалы, на третьей «дедовщина в начальной школе»).

Уеду, иначе я всерьез начну интересоваться тем, как выглядит дедовщина в начальной школе».

Ваня сложил газету и отправился домой, прямо домой — зачем теперь продукты, если все равно уезжать? Около самого дома он очнулся от звука громко хлопавшей по ветру простыни. Поднял голову и вдруг увидел торжествующее синее небо, и в этой синеве белели и плескались простыни. Прямо напротив его окон прехорошенькая девушка, торопясь, вывешивала на веревку смешные белые трусы и майки. Увидев Ваню, она засмущалась, но потом все-таки махнула приветственно рукой и продолжала вывешивать и отправлять прямо в небо что-то белое и трепещущее.

Ваня присмотрелся и понял, что поперек переулка была натянута веревка — она свободно скользила на специальных колесиках, похожих на маленькие лебедки, от его окна к окну девушки. Девушка между тем скрылась, а Ваня долго еще стоял, задрав голову и удивляясь, что небо может быть таким пронзительно-синим. Рядом с ним открылась подъездная дверь (средневековая, вся утыканная шипами, с мордой какого-то собирательного мифического животного), оттуда выбежала та самая девушка, но уже причесанная, в костюмчике и на каблучках.

— Чао, — дружелюбно сказала она онемевшему Ване, — и побежала дальше — маленькая, ладная, непривычная к каблукам.

— Вот я придурок, — сказал сам себе Ваня, — еды не купил.

Он вышел из переулка и направился в магазин. Рядом с ним прошел рыжий, как морковка, мальчишка, и стало понятно, что вышло солнце.

Ваня потрогал рукой короткую щетину на своей голове и прищурился. Теперь в нем сложно было заподозрить природного рыжего. Ваня всегда стеснялся своих волос — они у него были не просто рыжие, но еще и вились крупными кудрями.

«А здесь, пожалуй, я сойду и с кудрями!» — Ваня повел плечами и огляделся: вокруг кипела жизнь, причем только что вытащенные из-под месячного дождя итальянцы не выглядели ни мокрыми, ни взъерошенными. Даже студенты в своеобычных кедах и рваных джинсах казались райскими птицами по сравнению с англосаксами, среди которых Ваня жил последние пятнадцать лет. «Просто жизнь у итальянцев, видимо, замирает под дождем, чего британцы, например, себе позволить не могут — у них вообще бы тогда никакой жизни не было», — скаламбурил Ваня и очень довольный пошел знакомиться с городом, в оче-

редной раз забыв, что он хотел купить продукты.

Город охотно согласился знакомиться с Ваней. Огромная собака подошла к Ване, очень серьезно его обнюхала и ушла. Мимо проехал священник в длинной черное рясе на складном велосипеде с очень маленькими, как будто бы игрушечными, колесами. Переулок перегородил фургон электрика, из которого орала и подпрыгивала музыка восьмидесятых. Рядом стоял и сам электрик, мотая в такт музыке головой и свободными конечностями — «балдел». Ваня не знал, как будет «балдеть» по-итальянски, но был уверен, что для таких, как этот электрик, обязательно есть специальный глагол, родившийся в восьмидесятые и оставшийся там же.

Ваня вдруг почувствовал, что можно работать, круто развернулся на каблуках и отправился домой, где и писал коды до поздней ночи — без еды, разумеется. Но это были издержки свободной профессии. То, за что ему платили деньги, нельзя было делать просто хорошо, надо было делать очень хорошо, невозможно хорошо — и тогда на гонорары, полученные за невозможное, можно было позволить себе жить где угодно, следовать за солнцем и не думать о мелочах. Но бывали дни — или даже месяцы, если считать

последний месяц под дождем, — когда никакое количество часов за компьютером не приводило ни к какому результату. Правильный настрой надо было кропотливо конструировать, и Ваня очень старался — даже чертил схемы и рисовал формулы продуктивной работы.

«Солнце и белье на веревке», — покачал головой Ваня, надо же, какая простая формула. Хмыкнул, покачал головой, поулыбался и пошел к окну, посмотреть, висит ли там белье. На темно-фиолетовом небе блистали редкие звезды и изредка пролетали подсвеченные далеким прожектором чайки. А белых простыней не было.

«Завтра пойду с компом на берег моря, — подумал Ваня, — интересно, будет ли тот же производственный эффект от белого паруса на лазурной воде!»

Но на следующий день первым делом он побежал к окну и долго высовывался, поджимая пальцы на холодном полу, разглядывая новую порцию белья.

Теперь между его окном и окном хорошенькой девушки висели голубые майки — синие, голубые, бирюзовые и цвета морской волны.

«Она любит море!» — догадался Ваня, побежал к компьютеру, чтобы взять его с собой на море,

но застрял и проработал до темноты.

— Ну, завтра я уже ее не пропущу, — решил он.

Но назавтра пошел дождь, и зеленые ставни напротив так и не открылись и работа, конечно, встала.

Вместе с дождем, как это ни странно, не пришло обычное уныние. Ваня чувствовал себя удивительно бодрым и свежим — как будто бы он бегал ранним утром по берегу океана.

Ваня достал свой самый большой рюкзак, вышел из дома и вернулся со стратегическим запасом продуктов, пригодным для небольшой ядерной войны. («Это если я снова заработаюсь», — объяснил он старому рюкзаку, недоумевавшему, зачем ему, предпенсионному старичку, совершать такие усилия.) Потом он привел в порядок всю квартиру — начал с тех мест, куда мог упасть взгляд удивительной девушки, случайно брошенный из окна, а потом вовлекся и методично вычистил все, на что падал его собственный взгляд.

Когда розовая полоса закатного света протянулась через его ноги, он понял, что стоит с тряпкой в руках посреди блистающей чистотой квартирки, думая о Мередит.

«Так вот чего она от меня хотела! — вдруг

догадался он. — Так просто и… абсолютно невозможно».

Стал бы он в нерабочий день начищать до блеска все горизонтальные поверхности? Не стал бы, конечно. И опять не стал. И снова не стал. Во-первых, потому что нерабочий день — это вовсе не выходной. Нерабочий день — это когда не идет работа. А значит, надо ловить настроение. Или конструировать его. Вот чего Мередит никогда не понимала! Если внешний мир не посылает нужных для работы сигналов, надо работать с внутренним миром. Как это выспренне звучит. Ну да слава богу, он никогда не говорил этого вслух.

Где-то за окном звякнул крючок ставни, и уже через секунду Ваня улыбался через переулок девушке. Девушка в ответ вся засветилась в вечернем луче. Батюшки, да она рыжая! Как я мог не заметить? Ваню вдруг накрыло волной такого ликования, к которому он не считал себя способным. Он не представлял себе, что делается при этом с его лицом, поэтому он нагнулся и деловито подергал крючки собственных ставень — дескать, крепко ли держатся? — и тут же обнаружил снаружи под окном свою собственную бельевую веревку. Девушка показала ему жестами — да-да,

давно, мол, пора стирать и вывешивать сюда твои подштанники, непринужденно махнула рукой и скрылась.

«А еще он не стал бы этого делать для Мередит», — закончил он свою мысль. Для Мередит он только побрил голову, когда она объявила, что на Рождество им предстоит поездка к ее родителям в Сассекс. Между прочим, совсем не назло ей. Он даже оставил широкую полосу волос, идущую ото лба к затылку. Но, кажется, никому эта полоса не понравилась, хотя и была явной уступкой конвенциональным взглядам.

Видимо, это было опять что-то такое, что надо было объяснять, а объяснять он совсем не умел. Он вообще со словами… был как-то… не очень. То есть он не очень верил, что слова зачем-то нужны. Поэтому почти не разговаривал. Мама звала его Ванечкой и все понимала без слов. Но больше никто его Ванечкой не звал.

В Америке некоторое время к нему не сильно приставали — пока думали, что он плохо говорит по-английски, но скоро девушки (а девушкам он нравился) вместе со своим номером телефона начали писать ему на руке номер своего психоаналитика.

В чудесной стране чудаков его наконец оста-

вили в покое — настолько, что через пару лет жизни в Британии он вдруг пошел на курсы барменов и решил поменять специальность. Работая барменом, рассуждал он, придется разговаривать по-любому. Я буду говорить, меня будут понимать. Но понимали его только шейкер и кофемашина. А остальных приходилось только слушать. Ну и заодно оказалось, что на зарплату бармена он жить не умеет.

Он вернулся к своей работе, но оставил и курсы — самые разные — и теперь ходил по вечерам в разные группы: от театральных импровизаций до итальянской кухни. Он даже был бы, наверное, счастлив, если бы не дождь и не Мередит. Когда он это понял, ему стало смешно — ведь и Мередит, и дождь ему нравились. Или это не смешно? Просыпаться утром под шелест дождя, запускать руку в мягкие волосы и чувствовать, как гладкая нога скользит по твоей ноге… Скоро Мередит стала звать Ваню Джоном и покупать ему одежду. Ваня был даже не против погружения в тот устойчивый мир миддл-класса, в котором хотела жить Мередит. Просто в этом мире — или с Мередит, или под этим дождем? — он не мог продуктивно работать.

— Мы расстаемся. Я уезжаю. Совсем. Я совсем

не могу здесь работать, — сказал он ей.

— Почему? — спросила она.

Он посмотрел в ее серые глаза и подумал, что когда-то он был готов ее любить.

— Из-за дождя, — ответил он. В конце концов это было честное объяснение. Хоть и неполное. А больше она ничего не спрашивала.

На следующее утро Ваня еще не успел заварить себе кофе, как за окном заскрипело колесико, зазвенела на ветру тугая веревка и в бледном утреннем свете замелькали яркие пятна.

— Все это не просто так, — сказал Ваня своей термокружке (она была самой верной подружкой и умела дарить тепло), — все это не просто так.

Дальше Ваня не стал объяснять, но было и так понятно, что наконец-то дождя нет и все что угодно можно объяснить без слова. Рыжая девушка любила все яркое — как она сама. Это же очевидно.

Ваня серьезно задумался над тем, что он мог бы повесить на веревку, чтобы рассказать о себе? Майки и рубашки вперемешку. Майки — из разных городов, ведь он гражданин мира. Рубашки — потому что красивые и дорогие рубашки носит тот, кто небезразличен к мнению окружающих. Вперемешку — потому что он поддерживает

Гринпис, бережет окружающую среду и стирает в холодной воде — все цвета вперемешку. Предметы рассказывают куда лучше слов.

Жизнь обрела смысл. Каждый день из-за гор неторопливо вставало солнце, катилось по высокой лазури к морю и падало в него вечером. Каждый день в развалинах монастыря позади дома пел дрозд. Каждый день в небо взвивались флагами трусы и рубашки, майки и платья, полотняные салфетки и носовые платки. (Носовые платки Ване пришлось купить — если рыжая красавица за ужином стелит себе полотняную салфетку на колени, то не может же он сморкаться в туалетную бумагу!) Работа летела на крыльях, деньги приходили в местный филиал и где-то далеко-далеко неслышно, но ощутимо шумело море.

За все это время они ни разу не разговаривали, один только раз он застал ее у почтового ящика с письмом в руках. Ваня не дошел до нее нескольких шагов и остановился. Девушка некоторое время поизучала ящики (его фамилии там конечно же еще не было), а потом аккуратно пристроила письмо сверху. Оно не желало стоять стоймя и падало. А она его снова устраивала и смешно ругалась себе под нос по-итальянски.

Вдруг она насторожилась, обернулась, увидела его, подошла и решительно припечатала письмо к его груди. Сказала она при этом нечто непонятное, но понятное — что-то вроде: «Ну наконец-то!» — и ушла. А он остался стоять, прижимая к груди узкий конверт и слушая, как громко и звонко стучит его сердце.

— Вот я придурок, — сказал он себе, — письмо-то от Мередит.

Он засунул в карман письмо и пошел в порт (хотя перед этим он шел домой). Ощущение было такое, как будто он скользит на гребне волны. Оказывается, он ждал! Да, он ждал новой порции ее вещей на веревке, он ждал скрипа ее ставни, он ждал звуков ее шагов в узком переулке. И вдруг она — восхитительно реальная! — сама подошла и так мило его обругала. И крепко прижала свою ладонь к его груди.

— Это, братцы, не хуже, чем поцелуй, — сказал Ваня, глядя на свои заслуженные ботинки.

А высоко над его головой рассекала воздух над морем одинокая чайка.

За ночь счастье почему-то выветрилось. Ваня проснулся задолго до рассвета с ощущением тревоги и долго слушал, как где-то далеко упорный ветер хлопает и хлопает ставней. Ваня охотно

объяснил бы себе, что он и сам не знает, что его тревожит, но все объяснения были бы смешны: еще не успев включить с утра голову, он уже сел с чашкой кофе у самого окна — ждать, не появится ли на бельевой веревке за окном новое сообщение в виде салфеток (поужинаем?).

«Какая это странная функция «ждать», — думал Ваня, — кажется очевидным, что действие это однонаправленное. Я жду, а другой человек может даже ничего и не знать об этом. Но, с другой стороны, если я начинаю ждать, то это значит, что меня связывают отношения с тем человеком, которого я жду. А отношения не бывают односторонними. Значит, если я ее жду, то как-то это на ней отражается? Интересно было бы знать как? Память услужливо показала пожелтевшую вырезку из газеты, которую до конца жизни хранила бабушка. Там было «жди меня, и я вернусь». Кем бы он ни был, но он не вернулся, потому что замуж бабушка вышла через пять лет после войны, когда уехала из своей деревни».

Стукнула створка окна напротив, Ваня вздрогнул и чуть не пролил кофе себе на джинсы. А впрочем, неважно, кофе уже был совершенно холодный.

Осторожно, стараясь не выдать себя, Ваня

сквозь планки своей ставни старался разглядеть, что происходит за окном. Неловко повернувшись, он нажал лбом на ставню, она дрогнула и заскрипела, открываясь. Ваня в панике поймал ее и остановил. Девушка напротив выпрямилась и замерла, прислушиваясь. Ваня не дышал. Девушка постояла так не больше секунды, что-то повесила на свою веревку, а потом еще что-то и еще — бог с ним, потом разберемся, что там висит, теперь только не делать резких движений! — закрыла ставню и, кажется, ушла. Заставляя себя не поворачиваться в сторону окна, Ваня приготовил кофе и, глядя прямо перед собой, принялся его пить. Как это должен жить продвинутый буддист? Пить, когда ты пьешь, есть, когда ты ешь, — в общем, посвящать себя одному только делу и концентрироваться на нем полностью. За окном знакомо зацокали каблучки. Дзокколи! — вспомнил вдруг Ваня, — каблуки по-итальянски будут «дзокколи»!

Звук стих, и Ваня, разом забыв и про буддизм, и про итальянский, бросился к окну, распахнул ставни и чуть не вывалился из них наружу.

На веревке висели и стыдливо розовели в нежных лучах зари кружевные трусики, лифчики и о-о-о… мне пора переходить к активным дей-

ствиям!

Ваня кое-как напялил заслуживавшие лучшего отношения башмаки и понесся куда глаза глядят. Принесло его в порт, где он огляделся и стал мерить шагами самый длинный мол.

Надо было что-то делать, но что? Звонить ей? Писать? Кидаться мелкими камешками в ее окно? Любое из этих действий начиналось с того, что он должен был что-нибудь сказать. А в его обычной жизни любое из его действий начиналось с того, что он молчал. Многим казалось, что это должно было усложнять его отношения с девушками, но это было не так. Вместо дурацких слов достаточно было взять понравившуюся девушку за руку. Вместо того чтобы веселить ее глупыми шутками — пригласить на танец. Вместо фальшивого сочувствия погладить по голове. Ваня мог бы рассказать всем, что молчание не усложняет отношения, а значительно упрощает. Но, во-первых, он был не любитель рассказывать, а во-вторых, зачем? Пусть молчание упрощает жизнь только ему.

— Вот и доупрощался! — отчаивался Ваня. — Все-все понятно же, надо действовать, но как?

К вечеру у Вани был готов план, куплены свечи и записан саундтрек для изысканного ужина. А

ужин они должны будут готовить вместе. В те далекие времена, когда Ваня записывался то на одни, то на другие курсы, ему довелось поучиться готовить итальянскую еду. И вот теперь ему надо будет только подкараулить прекрасную соседку и спросить ее, не проверит ли она, насколько правильно он готовит. А дальше шутка. Шутка такая: ведь не могут же англосаксы готовить итальянскую еду правильно. Это должно сработать обязательно. Ни один итальянец не может проигнорировать просьбу иностранца, решившегося наконец-то научиться готовить как следует.

Ваня проверил всю фразу по словарю. Выписал на листочке. Отрепетировал перед зеркалом. Сказал ее, стоя на голове и в позе «согнутое дерево». Напоследок включил холодный душ, встал под него и повторил все снова. Всё! Теперь в любой ситуации он сумеет это сказать.

Но едва он вышел из-под душа, как понял, что ни сидеть, ни стоять, ни лежать он не может. Может только идти, причем желательно очень быстро.

И он пошел. По дороге он решил, что можно было бы купить себе новый парфюм. По его наблюдениям, девушки благосклонно относились к робким мужским попыткам ухаживать за собой.

Правильный парфюмерный магазин — то есть без разговорчивых продавцов за прилавками — никак не хотел попадаться ему на глаза, и в конце концов Ваня забеспокоился, что он может пропустить тот момент, когда его волшебница вернется домой и будет снимать вечером свое… гм… волшебство с веревки.

Повертев головой, он понял, что небо заметно потемнело, и снова понесся со всех ног, но уже домой. С быстрого шага он легко перешел на размеренный бег и с удовольствием бежал, как Маугли по джунглям, среди людей, домов и уже через четверть часа легко вбегал в свой переулок, зажатый двумя домами. Его дыхание, ни разу не сбившееся с правильного ритма во время бега, вдруг остановилось. В нежно-фиолетовом, как будто специально сделанном для романтического свидания, небе болтались мужские трусы. И были они отвратительны. Во-первых, потому что их было много, а во-вторых, потому что это были не нормальные трусы, а широкие боксеры — из фальшивого атласа, как в старых фильмах про бокс, в мелкую серую клеточку, в крупную красную клетку, в среднюю зеленую лягушку… Ваню стало ощутимо подташнивать, и он, торопясь и не попадая ногами по ступенькам, убежал

к себе домой.

Фиолетовое небо не обмануло, и романтический ужин состоялся (из соседнего окна пахло чем-то нечеловечески вкусным), но без Вани. Ване пришлось срочно находить НЗ в виде бутылки настоящего скотча, включать Блюз Брозерз и напиваться.

Главная подлость, конечно, заключалась в том, что прекрасная итальянская природа была абсолютна равнодушна к Ваниной драме. На следующее утро небо было однообразно-голубым, солнце, как механизм шарманки, неуклонно двигалось в заданном направлении, и все это было только фоном для новой порции каких-то жутких маек и носков. Смотреть на это у Вани не было сил, и он снова ушел в порт (вот именно, опять! И как мне прикажете теперь работать?). С бутылкой пива (все жизнь мучаюсь оттого, что не люблю пиво!) и большим сэндвичем Ваня расположился на самом дальнем причале. Неподвижная портовая вода, отрезанная от живого моря волнорезом, не шевелилась и не вздыхала. К Ване подошла наглая чайка величиной с собаку и посмотрела круглым глазом на булку с какой-то ерундой, которую Ваня уже и не знал, зачем купил. Ах да, чтобы не готовить итальянскую еду

— вот зачем. Чайка потопталась рядом и как-то особенно противно крякнула.

— Да подавись ты своей булкой! — Ваня в сердцах швырнул свой сэндвич чайке и пошел прочь.

Кто-то обернулся на Ванин крик, но тут же занялся своими делами. А остальные продолжали сидеть на лавочках, глядя, как корабли выходят из порта, и совершенно не интересовались Ваниной жизнью.

— И эти люди называют себя итальянцами! — Ваня нахлобучил капюшон поглубже, засунул руки в карманы и пошел прочь, пусть бы одни чайку прогоняли, другие звали Гринпис, щелкали пальцами, жестикулировали, поднимали руки к нему. Нет, ничего, они цивилизовались, видите ли, и теперь пропадай человек!

— Хоть бы банку попинать, так они, видите ли, даже банок на пол не кидают! — злобно сказал он своим ботинкам.

Наконец на спинке одной из лавочек он приметил сиротливо стоящую банку из-под кока-колы, очень довольный сшиб ее локтем и принялся увлеченно пинать, вымещая на несчастной жестянке всю досаду, накопившуюся со вчерашнего постыдного фиаско. «Это даже было не фиаско, —

стыдил он себя между ударами по банке, — это был вульгарный, обычный облом».

Банка отлетела к ногам какой-то парочки. Маленькие ножки на каблучках чуть отодвинулись, мужские в тяжелых военных ботинках, явно привычные к мячу, аккуратно остановили жестянку.

— Чао! — сказала Ване его волшебница.

Ваня хмуро кивнул.

— E questo è il mio vicino, — сказала она военным ботинкам.

— Это мой брат, — сказала она Ване, показывая на военные ботинки. — Я говорю по-русски. А ты говоришь по-русски? — И волшебница засмеялась, очень довольная произведенным эффектом.

У Вани медленно прояснялось в голове. Перед ним стояла и хохотала (наверное, у меня сейчас очень дурацкий вид) прекрасная девушка, ее золотые волосы летели по ветру, и, смеясь, она смотрела ему прямо в глаза. Рядом переминался с ноги на ногу высокий подросток в камуфляже, с цепями и чем-то таким на голове, чему Ваня уже не знал названия.

— Ciao! — сказал подросток. Потом помолчал и пошевелил бровями. Между бровей красовалась

праздничная россыпь прыщей.

А волшебница продолжала веселиться:

— Меня зовут Мария. Как тебя зовут?

— Иван, — сказал Ваня и вздохнул, предчувствуя дурацкие вопросы.

— Нет Джон?

— Нет Джон, — покорно согласился Ваня.

— А я знаю, — решила снова удивить его девушка. — Я по-русски Маша. И ты знаю. Ты Ванечка. Правильно?

— Правильно, — неожиданно для самого себе сказал Ваня, — правильно, а я Ванечка.

Камуфляжный брат вдруг сбросил прямо на асфальт свой рюкзак и повел, дриблингуя, жестянку, потом оглянулся и вдруг сделал аккуратный пас прямо под ноги Ване.

— E vai! — итальянская Маша уже бежала наперерез, кричала и махала руками. Ваня ловко спасовал брату (надо спросить, как его зовут).

— Giacomo! — сразу же крикнула Маша.

Чинные прохожие по-прежнему размеренно шли мимо и не обращали внимания на не к месту развеселившуюся молодежь. А Ваня, который впервые после стольких лет снова стал Ванечкой, с восторгом лупил по жестянке от кока-колы, благословляя мультинациональные корпорации,

производящие одинаково тугие банки во всех уголках земного шара.

2014, Генуя

Мария Метлицкая
Добровольное изгнание из рая

Мать все умилялась: как же ты похож на отца. И это тоже раздражало. Прежде всего раздражало вечное материнское умиление — слишком много эмоций, слишком сладко, слишком высокопарно. Все — слишком, впрочем, как всегда. В матери всего всегда было в избытке. Павлику казалось, что родители совершенно не подходили друг другу, — какая сила их вообще столкнула и свела, пусть даже на недолгие совместные годы? Отец — вечный пример для подражания и скрытого детского восторга. Высок, смугл, худощав, с прекрасными черными волосами и карими глазами. Весь его облик наводил на мысль о каких-то дворянских корнях или наследственной военной выправке. Но на самом деле ничего подобного не было, корни были самые обычные, рабочие — и откуда такие стать и аристократизм? Мать была внешне простовата, хотя хорошенькая, особенно смолоду. Белокурая, курносая, с распахнутыми голубыми наивными глазами. Роста она была небольшого, со смешными маленькими ладо-

шками и совсем крохотными ступнями тридцать третьего размера. Но тоненькой была только в юности, а родив сына, прилично раздалась, особенно в бедрах. Однако миловидность, обычно к середине жизни исчезающая у женщин подобного типа, у нее все же осталась, совсем немного уступив место простоте. Была она болтлива и смешлива до крайности. Впрочем, так же легко, как засмеяться, могла она и горько зарыдать. Умиляло ее все: и снегирь на ветке за окном, и немецкий резиновый пупс в витрине, похожий на младенца, и лохматая дворовая собака, и рассказ в последнем «Новом мире», и хрустальный голос Ахмадулиной по радио, и заварной эклер в кафе, и легкий цветастый сарафан, и бабочка павлиний глаз на дачном крыльце. Перечислять это можно было бесконечно. А выносить весь этот бесконечный и постоянный накал эмоций? Ну ладно, это ее дело. Но отец — технарь, человек расчетов и холодного ума. Ему каково? Павлик вспоминал, как отец морщился и пытался остановить мать: «Шура, довольно!» Потом они долго выясняли в спальне отношения, всхлипывала, потом смеялась мать, шумно втягивал носом и кашлял отец, долго куря на кухне, — а потом Павлик засыпал.

Ушел отец, когда Павлику было восемь лет. Объясняться с сыном нужным не посчитал, а через полгода встретил у школы и предложил зайти в его новый дом. Дома была и новая жена отца — Инесса Николаевна, отцовская сослуживица, из одной лаборатории. Ее твердый голос и строгий вид определенно внушали уважение. Была Инесса Николаевна совсем некрасивая, правда, высокая и стройная — в общем, то, что называется статью. Носила унылую прическу и грубоватые круглые очки. Была строга, но беспристрастна.

Павлик ее сначала испугался, но скоро понял, что бояться нечего, что совсем она не вредная, а скорее равнодушная. Его она не очень-то и замечала, задавая дежурные вопросы про школу и отметки. В Инессиной квартире было мрачновато: никаких салфеточек, цветочков, картинок — всего того, чем украшала дом мать. Готовить Инесса не умела, подавала на ужин либо сосиски, либо пельмени. Причем варил их, как правило, отец, без возражений. Павлик обожал и то и другое, да многие ли дети любят трудоемкие домашние обеды?

Дома мать обычно тщательно его расспрашивала: что там у отца, как отец, что Инесса, чем кормили, о чем говорили? Павлик огрызался,

злился, а мать обижалась и уходила к себе плакать. Ему было жаль мать, но сильнее была досада и даже злость за то, что не смогла удержать отца, а еще за то, что отпустила его легко и сразу, даже не устроив скандала. Продолжала восхищаться жизнью, правда, теперь реже и тише, и чаще плакала, закрывшись в ванной. Павлик всеми силами боролся с собой — его разрывало на части, он хотел зайти к матери и обнять ее, но побеждало другое, и он, стиснув зубы, злясь и раздражаясь на нее и себя, включал телевизор на полную громкость, только бы не слышать, не слышать и не пожалеть. Потом, отплакавшись, бросала: «Жестокий ты, в отца!» — и у нее светлели глаза и останавливался взгляд.

Замуж мать больше не вышла. Да что там замуж! За все эти годы Павлик не заметил даже подобия любовной истории в ее жизни. Отец иногда, впрочем, нечасто, заходил к ним — и мать была в эти дни особенно бестолкова и суетлива, варила любимый отцом фасолевый суп, пекла пироги с капустой, но он сидел в комнате уже подросшего сына, пространно и неконкретно обсуждал будущее Павлика, а мать заглядывала и с заискивающей улыбкой предлагала им поужинать. Отец всегда смущался и отказывался,

объясняя это тем, что дома ждет Инесса. И уже подросший Павлик, слегка обиженный за мать, ехидно спросил его как-то, не удержавшись:

— Сегодня у вас сосиски или пельмени?

Мать со вздохом убирала кастрюльки в холодильник и опять плакала в ванной. Когда отец уходил, она обязательно говорила Павлику:

— Тебе не кажется, что отец сильно сдал?

— Не кажется, а тебе этого очень хочется? — хамил Павлик. Почему хамил? Сам не понимал. Мать он уже начал жалеть — первый признак того, что вырос, но по-прежнему стеснялся проявлять сочувствие. От стеснения, видимо, и хамил.

На Павликово восемнадцатилетие отец подарил ему часы «Полет» и объявил, что алименты закончились. Потом Павлик поступил в МАИ и через пять месяцев, в аккурат после первой сессии, привел в дом жену. Ее звали Лора, она была русская, но из Баку и смешно прибавляла к месту, а чаще невпопад слово «да» — в утвердительном, вопросительном и отрицательном смыслах. Это вот «да» страшно веселило Павлика. Была Лора высокая, почти длинная, с грустными глазами навыкате и длинной русой косой до пояса. Эта коса и ее постоянное забавное «даканье» Павлика и сразили. Была она из семьи военного, и

свадьбу справляли в офицерской столовой подмосковного военного городка. Отец с Инессой подарили громоздкий кухонный комбайн, и Лора заплакала, увидев на дне коробки товарный чек семилетней давности. А мать отдала Лоре свою единственную драгоценность — старое кольцо со слегка оплавленным темно-синим сапфиром. По семейной легенде, это кольцо перенесло какой-то пожар в конце девятнадцатого века.

Лора как-то сразу объявила, что двум хозяйкам на одной кухне будет точно тесно и что нельзя превращать совместную жизнь в ад. Мать собрала вещи и уехала жить к своей матери, старухе со скверным характером, в Томилино, где у той была половина дома — две комнаты и веранда, удобства во дворе. Приезжала мать теперь в свою квартиру три раза в неделю — сидеть с внучкой Машенькой, которую обожала. Против этих приездов Лора, конечно, не возражала — она пыталась вести «светскую» жизнь: консерватория, Зал Чайковского, Большой. Возвращались они поздно; после очередного концерта Лора делала томные глаза и говорила, что ей надо немного пройтись, все это «переварить», но никогда не предлагала свекрови остаться на ночь. Она вообще не любила причинять себе неудобства.

К отцу Павлик с семейством заезжал редко, примерно раз в полгода. Отец с Инессой писали учебник по физике для вузов и были страшно заняты. Отец сдержанно радовался внучке и дарил какие-то нелепые крупные пластмассовые игрушки, постепенно захламляющие квартиру.

А потом заболела Инесса. Положили ее в клинику Академии наук в Ясеневе — больница неплохая, а вот ухаживать за ней было некому. Отец был занят по горло: учебник, кафедра, лаборатория. Лора? Кто мог рассчитывать на Лору? Инесса вела себя мужественно, боли терпела, сжав зубы, и, лежа на высоких подушках, продолжала что-то писать. Работала.

Когда об этом узнала мать, она встрепенулась, засуетилась и стала принимать активное участие в болезни Инессы. Теперь она протирала супы из цветной капусты, лепила паровые котлеты и давила морсы из клюквы. Потом везла все это в судках и бидонах в больницу и, не заходя к Инессе в палату, передавала все это медсестре.

Инесса лежала в больнице полгода и умерла от инфаркта, слава богу, не дожив до страшных болей. Отец плакал, был абсолютно растерян и беспомощен, и у него стали мелко трястись голова и руки. Все поминки сделала мать — накрыла

столы, нарезала салаты, нажарила кур. Лора, скорбно поджав губы, предложила испечь торт. Мать несколько минут пристально смотрела на нее, а потом сказала: «Нет, Лорочка, не надо, это не ко времени». Похороны были многолюдные, все-таки Инесса была профессор и завкафедрой, но на поминки почему-то пришли немногие. Мать все беспокоилась, что не хватит еды, потом до трех ночи мыла посуду. Отец уснул в кабинете на диване, а матери пришлось лечь в спальне, на остывшее семейное ложе своего бывшего мужа.

Теперь она приглашала его в Томилино — отъесться, подышать воздухом, но он только отмахивался, мол, дел по горло. Однажды, передавая через Павлика вязаное кашне для отца, услышала едкое:

— Зря стараешься, у него роман с молодой разведенной лаборанткой.

Просто так сказал, чтобы его жалкая мать наконец-то навсегда распрощалась с иллюзиями и надеждой.

Брак Павлика с Лорой счастливым можно было назвать с большой натяжкой. Хозяйкой Лора была никакой, домом заниматься не любила, была очень расчетлива и даже скупа, деньги обожала, а вот в постели всегда уступала со вздо-

хами и одолжениями. Через пару лет у Павлика появилась женщина, коллега, — мать узнала об этом от него же, так как он просил ее о комнате в Томилине, куда и приезжал со своей пассией.

— Бедная Лорочка! — причитала мать.

— Ну ты блаженная, Лорочку тебе жалко! А что хорошего в этой жизни тебе сделала эта Лорочка? — возмущался Павлик.

А потом мать неожиданно вышла замуж за брата своей томилинской приятельницы, отставного подводника, и уехала с ним в Эстонию, в маленький городок, где ему предложили работу в военном училище. Были молодожены вполне довольны жизнью, и на крошечной даче, уютной как игрушка, они выращивали на песке необыкновенные по величине и сладости помидоры. И конечно же, отправляли их в Москву с проводником — вместе с копченой салакой и шоколадными эстонскими конфетами. А отец, одинокий отец, все чаще и чаще заходил к Павлику и очень привязался к подросшей внучке.

И однажды на кухне, в отсутствие вяловатой и претенциозной невестки, вдруг сказал сыну, что всю жизнь, оказывается, любил его мать, но жить с ней было невыносимо. Что не мог он сгорать в огне ее любви ежеминутно и ежечасно — как

требовал ее темперамент, ну просто не мог отвлекаться на все это, иначе просто не стал бы тем, кем стал. А с Инессой все получилось, видимо, он все правильно рассчитал, бормотал отец. И еще, если быть честным до конца, если приоткрыть эту самую тайную тайну, все же он надеялся, что, может быть, они еще и сойдутся, ну, гипотетически это же могло быть, а? А она видишь как поступила, ну кто бы мог предположить? Ведь он на нее так рассчитывал… И еще что-то бормотал отец про те недолгие годы с матерью, когда был счастлив. Оказывается, он был счастлив только с ней.

Павлик сидел оглушенный. А когда прошел ступор, он начал кричать, громко, с надрывом, кашляя и задыхаясь:

— Как же ты мог, как мог? Такое натворить, так распорядиться и своей жизнью, и ее! Ты преступник, тебе нет оправдания, не ищи его! — А потом, еще что-то вспомнив, он запричитал шепотом, страшно: — А моей жизнью, как ты мог так распорядиться и моей жизнью? Заодно?

Он еще долго кричал и плакал, и по его небритому лицу текли слезы.

Лицу совсем зрелого мужчины.

Дарья Дезомбре
Лотерея

Верьте мне, сказки про Золушек встречаются, и они всегда связаны с принцами, тут главное — не затянуть сюжета. Однако принцы в наше время понятие относительное, не всегда оправдывающее свою исконную сказочную репутацию.

У Ксении в жизни было крайне мало ярких эпизодов.

Во-первых, она родилась в простой преподавательской семье.

Во-вторых, жила до окончания института — педагогического, как и тот, который закончили ее родители, — в Павловске. Что, несмотря на близость к Питеру, все же не Питер. Институт она окончила небогатый на мужской пол, а уж ее факультет — химии — совсем был его задворками по всем показателям. Кто пойдет на такой факультет? Уж всяко не гениальные химики и крайне редко будущие Песталоцци да Макаренки. Туда идут люди без больших талантов, денег и связей, которым мало что было интересно по-настоящему. Неудачники, одним словом. Так,

начиная лет с семнадцати Ксюша записала себя в неудачницы, окончательно и бесповоротно. Хотя подозревать о том, что к ним относится, она стала еще раньше. С того момента, когда начала осознанно смотреть на себя в зеркало. Лет в тринадцать-пятнадцать. И не понравилась себе. И поверьте, дело тут было не в самокритике, свойственной подростковому максимализму. Тут-то мы и подобрались к основному пункту: ко всему прочему, Ксюша была не красавица. То есть абсолютно. Черты лица — не то чтобы сильно безобразные, а просто невыразительные черты лица. Плюс к тому они не оживлялись ни мимикой, ни огнем в глазах; не передавали ни блеска остроумия, ни мощного интеллекта, ни бешеного темперамента. За неимением таковых.

В момент, когда произошла эта история, Ксюша сделала первый сильный шаг в своей не избалованной на события жизни. Она уехала из золотого города Павловска: кому дворцы, парки и любимый Путиным ресторан «Подворье», а кому блочные пятиэтажки, каждодневные прокуренные электрички и убогий выбор товаров народного потребления в местном магазине. Так вот. Ксюша, выдержав упорную борьбу с мамой (зачем тратить и так невеликую зарплату на

съемную квартиру!), сняла комнату в коммуналке. В центре. Там было темновато и жили в соседних комнатах: молодая одинокая мать с маленьким и очень шумным младенцем Марина и тихий алкоголик Витя. Кухня была замызгана. Сортир часто выходил из строя. Зато в момент, когда Ксюша закрывала дверь, она могла абстрагироваться от всего остального мира. У нее имелся неплохой телевизор, привезенный от родителей, и серый добрейший кот того же происхождения. Сами родители продолжали громко и муторно ругаться в своем Павловске, но мать хотя бы не могла уже ее донимать тем, что она должна искать себе мужа, «а не сидеть сложа руки». На это Ксюша резонно замечала (в основном про себя), что: а) чем жить ТАК со своим мужем, как ее мама, так лучше одной; б) она не сильно представляла себе, как его можно искать и что толку складывать руки, раскладывать: раззудись рука, размахнись плечо? Вот у Ксюши, к примеру, была одна незамужняя подруга, примерно тех же, что и Ксюша, внешних данных и лет, так она искала: в клубах, по Интернету и просто на шумных улицах нашего славного, полного всегда приятных неожиданностей большого города. И что? Неожиданности имелись только неприят-

ного свойства, парни из Интернета оказывались сексуальными маньяками или исчезали через свидание, парни из ночных клубов — алкоголиками и… Смотри выше.

Поэтому Ксюша не тратила время на вещи, которые не доставляли ей удовольствия, а, напротив, могли ее очень расстроить, не говоря уже о том, чтобы подорвать ее хилый учительский бюджет. Ведь частные уроки химии мало кому интересны (правда, дополнительно платили за продленный день). Однако Ксюша в свое положение неудачницы вошла не как в дождливый серый день, а как в теплую ванну: не надо напрягаться — дело бесполезное, а уж дома на полке всегда найдется хорошая книжка, и что-нибудь интересное можно найти по телику, и завернуться в плед, и выпить чаю с печеньем. Одиночество же после жизни с родителями и бесконечных эмоциональных материных шантажей ее не пугало. Правда, иногда казалось, что хорошо бы в эту самую ванну подлить горячей воды. Каких-нибудь чуйств, какого-нибудь флирта, что ли… Чаще всего эти смутные желания одолевали ее после того, как все та же неугомонная подруга вытаскивала ее в кино или в театр.

— Не в селе ж живешь неэлекрифицирован-

ном! Зачем тогда из своего Павловска переехала, тетеха?! Там бы хоть воздухом дышала посвежее, — говорила та жестко, когда Ксюша начинала канючить, что не пойдет никуда, поскольку ей нечего надеть.

Но верьте мне, сказки про Золушек случаются! И главное в сказке — отправной сюжетный посыл. Обычно таковой приходит извне. В виде феи, волшебного орешка там или рыбки. Ксюше посыл пришел в образе старика, продающего в ларьке лотерейные билеты. Ларек находился поблизости от троллейбусной остановки, на которой постепенно собиралась весьма агрессивно настроенная толпа. Холод стоял такой, что даже хозяевам проезжавших мимо «Мерседесов» было неудобно перед трудящимися, ожидающими общественного транспорта. Конечно же, от подошедшего троллейбуса Ксюшу оттолкнули, она была не сильно боевой. И тогда, оставшись уже в одиночестве, она решила для согреву погулять чуть-чуть вокруг. И наткнулась на ларек. А в нем — на объявление, что следующий розыгрыш — 10 миллионов. Долларов. Старичка было жалко, себя было жалко, троллейбуса было не видно, в общем, Ксюша купила билетик. И сразу же пожалела — такая глупость! Сунула в карман негнущимися

уже пальцами и вернулась на остановку.

Сказать, что она совсем забыла о лотерее, было бы неверно. Она положила билетик на полочку рядом с дверью, куда обычно выкладывала все из карманов. И каждый вечер на него мельком посматривала. Розыгрыш состоялся через две недели, утром, по телевизору. В этот день у Ксюши как раз не было первых уроков, и она, поздно проснувшись, выползла на кухню, согрела себе чайку, а потом быстро вернулась обратно в свою нору. Под одеялом было тепло и уютно, орущее дитя из соседней комнаты утащено в ясли, у Вити случился «активно-рабочий» период: большая квартира опустела. Ксюша любила ее такой. Установив рядом на тумбочке большую кружку с дымящимся чаем и вазочку с мармеладом, она включила телевизор. Улыбающаяся пара ведущих крутила колесо с разноцветными шариками с черными цифрами, а Ксюша прихлебывала чай, поедая обсахаренные мармеладки. Лотерейный билетик она держала поблизости на одеяле. Цифры на билетике медленно и верно совпадали с цифрами на шариках. Ксюша относилась к сему философски — в собственную удачу она верила слабо. Но где-то в глубине души тихий голос говорил: «А вдруг?» В перерывах между разыгры-

ванием каждого шарика ведущие обменивались несмешными шутками о том, как повезет кому-то с выигрышем и как бы они — ведущие — уж точно нашли бы, что делать с 10 миллионами. И хихикали. Перед розыгрышем последнего шарика хихикающие ведущие объявили рекламную паузу, и всю эту рекламную паузу Ксюша просидела, приподнявшись над подушками, судорожно сжав кружку в одной руке и билетик — в липкой от мармелада другой.

— Пусть будет два! — молила Ксюша, не отрывая глаз от молодых людей, пьющих пиво и говорящих по дешевой мобильной связи. — Пусть будет два! — шептала она, глядя на девушек в белом, носящих прокладки. — Пусть будет два!

Пока наконец снова появившиеся развеселые ведущие не стали разыгрывать тот самый роковой шарик, а Ксюша вцепилась в кружку так, что побелели костяшки пальцев. Шарики крутились так долго, так невыносимо долго! И наконец один, красный, выкатился, повернулся бочком, и ведущая бесконечно медленным жестом поправила его так, чтобы была видна цифра. Двойка. Некоторое время Ксюша сидела замерев. Кружка заскользила из ослабевших и внезапно вспотевших ладоней. Она осторожно

поставила ее на тумбочку, не отрывая глаз от экрана, но уже не вслушиваясь в происходящее, уйдя в себя, вдруг нырнув в какие-то темные глубины, где странный слабый голос все повторял: ну как же так? Неужели? Это мой билетик? Там, наверное, какая-то ошибка… От одной этой мысли ее выбросило вновь на поверхность, к одеялу, липким пальцам, кружке с остывшим чаем. Ксюша вскочила с кровати и начала метаться от дивана к окну и обратно. Потом комнаты стало мало, и, выйдя в коридор, она стала отмеривать круги от туалета и кухни под молчаливые соседские двери. Она, наверное, плохо разглядела, ей так хотелось поверить, и на нее нашло… Как его? Затмение! Помутнение мозгов и зрения! Не может такого быть, чтобы она выиграла эти миллионы. Такие, как она, живут до старости в убогих комнатенках и в одиночестве; они учат ленивых детей, и их бездыханные тела находят лишь тогда, когда кошки с голодухи обгладывают хозяйкам лицо… А вдруг все-таки — правда? Надо поскорее выяснить это, потому что иначе она просто с ума сойдет от неопределенности!

Ксюша приняла решение и бегом начала собираться — натянула первое, что попалось под руку, а попалась вчерашняя юбка со свитером.

Затем позвонила на работу, сказавшись больной, но пообещавши точно-точно завтра быть, и побежала, полетела по указанному адресу: троллейбус — метро — маршрутка. В маршрутке она бросилась проверять паспорт и поняла, что потеряла перчатки, но руки и лицо горели, в перчатках не было никакой надобности. Ни в них, ни в шарфе, ни даже в ее жуткой дубленке. Что же она будет делать, если выяснится, что все это ей причудилось?

Только через час она вышла из заветного высотного здания. Встала в очередь на маршрутку, села вовнутрь. Кто-то, кто сидел на ее месте, прогрел в замороженном стекле окошко. Не окошко — так, дырочку. В дырочке мелькал городской пейзаж. Ксюша осторожно несла в себе все воспоминания о прошедшем часе: поздравления, завистливые взгляды, лицо той девочки из какой-то бесплатной газеты, которая ее дожидалась, чтобы взять интервью для рубрики «О, счастливчик!». Девочка задавала вопросы «за жизнь», и Ксюша ей все-все рассказала: что она — учитель химии, ей 26, окончила педагогический и любит свою профессию, нет, детей нет, ищет своего «принца». Девочка заметила, что с 10 миллионами проблем с принцем быть не должно. Но в статье

они поставят только имя — чтобы не привлекать охотников за приданым. И тепло ей улыбнулась. Боже мой! На ее карточку, на которой до сих пор лежала только учительская зарплата, лягут 10 миллионов! Ксюша вяло открыла дверь в свою квартиру и порадовалась, что никого нет. Медленно разделась и легла опять под одеяло. Она чувствовала какою-то апатию, усталость от неожиданно накрывшего ее счастья. Думать было лень. И сама не заметила, как заснула.

Следующая неделя прошла как в бреду: Ксюша ходила на работу, готовила себе немудреный ужин, смотрела телевизор. Она не позволяла себе такси, ничего не купила нового, не строила никаких планов. Было ясно, что с 10 миллионами живут иначе, чем с 300 долларами в месяц, но как? Она вглядывалась в витрины модных магазинов и салонов красоты. Женщины, выходившие из них, были из другой жизни. Но идти ей туда было страшновато. Ксюша копила силы, чтобы в один прекрасный день разорвать путы постылой действительности и выйти — в космос. Просто она пока не знала — как?

И вот тут-то и появился ОН. Он позвонил в дверь минут через десять после того, как она вернулась из школы. Ксюша успела переодеться в халат и

начала засыпать на сковороду мороженые овощи. Соседка с ребенком на руках открыла дверь и с вытаращенными глазами вошла на кухню.

— Это… К тебе, — сказала она, посмотрев на Ксюшу как-то… по-новому.

Ксюша никого не ждала, но выбор меж подружками был невелик. Как уже было отмечено, на пороге, с любопытством разглядывая велосипеды с тазами, выставленные в коридоре, стоял ОН. Он был высок, строен, голубоглаз и темноволос. Он вписывался в ее коммунальную квартиру как арабский скакун, запряженный в деревенскую телегу.

— Вы ко мне? — спросила Ксюша и покраснела.

— Если вы — Ксения, то к вам, — сказал тот, кого она уже назвала про себя «шикарный мужчина».

И ослепил белоснежной улыбкой. Ксения не знала, куда ей деть глаза. Мимо продефилировала, блестя свежеподведенным глазом, соседка Наташа, уже без ребенка и в новом халате. Ксения поняла, что ей придется пригласить гостя в неубранную комнату. Стыднее быть уже не могло, да и глупо в ее халатике и с немытыми волосами претендовать на шикарного мужчину. Даже мытые, впрочем, они вряд ли бы спасли положение.

— Проходите, — Ксюша открыла дверь.

Мужчина обвел взглядом комнату, еле слышно хмыкнул и присел на краешек занавешенного одеждой стула. Ксюша неловко сняла со спинки гордо ниспадающие колготки с юбкой и кинула в шкаф. И только потом села напротив. И заставила себя посмотреть ему в глаза. Как он был хорош! Загорелый, а вокруг нее все были серо-зеленого цвета, и весь такой гладкий, мускулистый, видно даже под свитером, тонким и дорогим, и с длинными ногами, узко охваченными модными джинсами. Она заметила, что, пока она рассматривала его, он рассматривал ее.

— Мы знакомы? — спросила она как можно более независимо.

— Нет, — ответил он мягко и улыбнулся самыми ровными на свете зубами. — Но я очень хотел бы с вами познакомиться.

На это Ксения сказать уже ничего не могла, только глядела на него ошарашенно.

— Не пугайтесь, — тут он позволил себе рассмеяться. — Вы выиграли лотерею, ведь так?

Ксюша осторожно кивнула.

— А я, — и тут улыбка «шикарного мужчины» стала уж совсем неприлично широкой, — ваш главный приз! Или, если вам это больше нравит-

ся, иду в «нагрузку» к 10 миллионам.

«Вот оно! — подумала Ксюша. — О чем предупреждала ее журналистка!»

Она попыталась холодно улыбнуться в ответ:

— Значит, вы охотник за приданым. Так?

И тут красавец запрокинул голову и захохотал. «Прямо-таки заржал», — неприязненно подумала Ксюша.

— Милая барышня, — отсмеявшись, шикарный тип поглядел на нее почти ласково. — Для охотника за приданым надо, чтобы я захотел на вас жениться. А я вам этого вовсе не предлагаю.

Кровь бросилась Ксюше в лицо.

А тип тем временем продолжил:

— Я предлагаю вам нечто много более интересное — соединить в единое целое ваши деньги и мое умение их тратить.

— Спасибо! Я сама смогу их хорошо потратить! Мне помощники не нужны! — заявила Ксюша, собрав в кучку остатки достоинства, и поднялась с продавленной тахты, давая понять, что аудиенция окончена.

Тип тоже встал — а был он много выше Ксюши — и усмехнулся:

— А вот в этом вы ошибаетесь. Человек, который никогда не имел опыта обращения с

большими деньгами, не может в одночасье научиться их правильно тратить. Вы будете делать ошибку за ошибкой, слушаться советов людей, у которых этого опыта тоже нет! Приобретете не ту недвижимость (тут Ксюша вздрогнула, потому что как раз подумывала о квартире), накупите себе гору безвкусных и дорогих тряпок и плохого качества бриллиантов. — Он наклонился к ней, голубые глаза были близко-близко. — Тогда как я… Я смогу показать тебе настоящую «красивую» жизнь: я знаю, куда мы пойдем одеть тебя так, что ты станешь красавицей, мы подстрижем тебя у Маниатиса… — тут он взял ее за затылок. — Будем есть устриц на льду на залитой солнцем террасе в Париже, слушать «Волшебную флейту» в Венской опере, снимем настоящее венецианское палаццо с прислугой, и они будут встречать нас на пристани с фонарями, пока мы будем целоваться в гондоле…

И тут он ее поцеловал. Ксюша, конечно же, хотела сразу вырваться, ведь понятно, что ему нужны только ее деньги, но оторваться было невозможно. Оторвался в результате он.

— Тебе понравилось? — спросил он нежно, держа ее за подбородок. — То ли еще будет…

Ксюша попыталась что-то сказать, но только

замычала.

— Ты согласна? — спросил он ее уже несколько обеспокоенно.

А Ксюша тут ляпнула такое, ТАКОЕ!!! — никогда не думала, что может такое сказать (видно, миллионы уже ударили ей в голову).

— Останься, — еле слышно прошептала она. Он улыбнулся и начал снимать через голову свитер.

На следующее утро он ушел рано, а она осталась нежиться на смятых — как и положено после романтической ночи любви — простынях. Впервые смятых. Не считать же ее лишение девственности пьяным однокурсником в общежитии романтической ночью? «Хорошо все-таки, что она ее лишилась ДО», — подумала Ксюша. Ей было не больно, а только приятно, и как приятно, черт возьми! Она потянулась. Хорошо, что суббота! Хорошо, что она выиграла эти деньги! Взглянув на ситуацию трезво — в первый раз ей было так хорошо с тех пор, как она узнала, что она теперь миллионерша. Нашла, что называется, применение деньгам… Было бы глупостью отказываться от такого компаньона. Теперь она знала, чего хочет. И хочет именно с ним. То, что он бы никогда не появился на пороге ее квартиры, если бы не презренный металл, Ксюшу, конечно, пе-

чалило. Но сегодня у нее было слишком хорошее настроение, и потом, еще не вечер! У него же этой ночью все получилось, значит, она ему все-таки чуть-чуть нравится? Даже с грязной головой и в заношенном халатике! А теперь она встала перед зеркалом и отметила, что и правда сегодня очень даже ничего — представим, как она будет неотразима в каком-нибудь Ив Сен– Лоране. Какой он, этот Ив Сен с Лораном, она представляла смутно, но это сейчас было абсолютно не важно, ей теперь о нем сможет рассказать Андрей. Свое имя он сообщил ей, оставляя перед уходом визитку с номером мобильника. Такое красивое имя… Андрей. И мужественное. Ксюша вышла, чтобы вымыть наконец голову. В коридоре ее явно сторожила Наташа. «Бедняжка, — подумала про нее впервые в таких терминах Ксюша. — Водит к себе каких-то жутких мужиков, пока ребенок рядом ползает, пытается устроить свою личную жизнь». Наташа посмотрела на нее с откровенной завистью, густо замешанной на удивлении.

— Привет, — счастливо сказала ей Ксюша и продефилировала в ванную.

Следующий день прошел как в бреду. Утром они встретились с Андреем — сегодня он был облачен в элегантнейшее пальто. А также табач-

ного цвета ботинки и красный шарф. Увидев его, такого роскошного, Ксюша аж попятилась.

— Стой, — сказал он ей, посмеиваясь. И вынул из-за спины длинную алую розу. Ксюша постепенно стала наливаться тем же цветом, а Андрей сделал вид, что ничего не заметил, расцеловал ее в щеки и подставил руку кренделем: — Сейчас пойдем осматривать квартиры. Я отзвонился всем своим знакомым риелторам, они нам подобрали пару вариантов в центре — ты же хочешь жить в центре? (Ксюша нервно кивнула.) Ну вот, — продолжал он, увлекая ее, уже мало что соображающую, к дверям какого-то шикарного офиса. — Сегодня посвятим день выбору квартиры — покупать надо быстро, цены растут. Где-нибудь с видом на воду и, конечно, не меньше 100–150 метров, да? — Ксюша ничего не ответила, да этого и не требовалось.

В офисе нарядная секретарша кому-то позвонила, и к ним мгновенно вышел симпатичный молодой человек (но никакого сравнения с ее Андреем, с удовлетворением отметила Ксюша).

— Здрасьте-здрасьте! — молодой человек лучился улыбкой, пожал руку Андрею и приложился к ручке Ксюшиной (и тут она вспомнила, что маникюра так и не сделала). — Ну что ж,

пойдем смотреть ваши варианты. Только предупреждаю — хороших мало, нужно все ломать.

— Это нас не смущает, — кивнул Андрей, не обращая внимания на очень даже смущенную и, более того, несколько испуганную Ксюшу.

— Ну да, ну да, — легко согласился риелтор. — Дам тебе прошлогоднюю бригаду, они славные ребята. Работают быстро и качественно, хоть и много берут.

— Ничего. Как-нибудь прорвемся, — лениво протянул Андрей.

И понеслось.

Они смотрели квартиры на Мойке, Неве и Фонтанке, с видом на Дворцовую, с видом на Исаакий, с видом на Летний сад. Грязные, только что выселенные коммуналки и с уже сделанным евроремонтом. Ксюша ловила ртом воздух от восторга, а Андрей постоянно находил к чему придраться: то северная сторона, то шумно, то большинство окон выходит во двор-колодец… Наконец, горестно повздыхав, риелтор повез их опять на Фонтанку — они вошли под своды дома серого камня, за высокими арками которого скрывался даже не один, а несколько переходящих друг в друга двориков, похожих на венецианские. Внутри дворика стояли также очень красивые

машины любителей венецианского стиля.

— Освободилась тут квартирка. — Риелтор не без труда потянул на себя тяжелую дверь. — Но поменьше, чем вы хотите, размерами. Зато с окнами куда надо. Так что поглядите.

Он ввел их в небольшую — сравнительно с остальными, — очень светлую квартиру. Видно было, что кто-то уже поработал над ней: осталось мало перегородок, кривые питерские стены выровнены и все выкрашено в белый цвет. Отблеск от лежащей внизу Фонтанки переливался бликами на потолке. Впервые за время их поисков Ксюша открыла рот для того, чтобы что-то сказать, и эта первая фраза была произнесена с твердостью.

— Мне здесь очень нравится.

Андрей прошелся быстро из просторной прихожей в большую светлую гостиную, совмещенную с кухней, и оттуда — в комнату, тоже с видом «на воду».

— Тебе правда нравится? — спросил он, внимательно глядя ей в глаза. Ксюша кивнула.

— Ну что ж, — повернулся Андрей к риелтору, — давай рассказывай, сколько и как и про состояние дома. Надеюсь, не аварийное?

И пока Антон заливался соловьем, Ксюша все

ходила из комнаты в кухню, из кухни — в гостиную. Нужели это будет ее? Как стал ее этот потрясающий мужчина? Внизу синела речка, вверху — над крышей Аничкового дворца — догорал закат. «Какое счастье!» — подумала Ксюша впервые в жизни в настоящем времени. Андрей тихо подошел к ней сзади.

— Я попытаюсь сторговаться насчет цены, — сказал он. — Но даже если получится скинуть, нужно будет завтра-послезавтра перевести деньги. В Толстовском доме свободных квартир уже не осталось, и если хочешь жить в нем… надо поторопиться.

Ксюша подняла на него глаза и задала вопрос, который с утра вертелся у нее на языке.

— Зачем ты это делаешь?

Андрей вроде как не удивился:

— Ты имеешь в виду поиски тебе квартиры?

— И это, и еще… — Она вновь опустила глаза долу. — Эта твоя роза? Зачем?

— Ну… — протянул он. — В некотором роде я теперь твой пастырь… А ты — моя бедная овечка. Мы будем вместе тратить твои деньги, и… — Он усмехнулся. — Я тебе буду кое-что должен. Хочу найти тебе крышу над головой, дабы, когда ты приедешь обратно из Европы с уже весьма

уменьшенной суммой в банке, ты не вернулась в свою… ммм… конуру.

Неизвестно почему, но Ксюша вдруг почувствовала комок в горле. Он ее пожалел! Ее, с ее 10 миллионами! Ее, в ее убогой комнате, с убогим халатиком! Понятно, откуда взялась роза… И спрашивать было нечего. Это просто жалость, просто. Почему же ей так сладко, хотя и грустно? Как ее мало жалели… Она вытерла тыльной стороной ладони мокрое лицо. Наверное, и тушь потекла. Зачем она красилась, дура? И на этом печальном месте шикарный мужчина притянул ее к себе и погладил по голове. Тут Ксюша расплакалась уже в голос и с огромным удовольствием, как в детстве. А риелтор Антон заглянул в комнату, оценил ситуацию и, показав Андрею жестами, что дверь можно просто захлопнуть, тихо удалился.

Следующая неделя прошла для Ксюши в полной запарке: во-первых, Андрей заставил ее перевести все деньги в западный банк (правда, 10 миллионов перевести оказалось легче, чем какие-нибудь 10 тысяч). Во-вторых, она получала загранпаспорт и шенгенскую визу. В-третьих, на всех парах оформлялась сделка с квартирой, и наконец ей вручили ключ и бумаги, досконально

проверенные Андреем. Андрей проводил с ней большую часть дня, но не ночи. Он не настаивал, а Ксюша стеснялась предложить. Зато он держал ее в ежовых рукавицах, как он сам выражался, запрещая: покупать одежду («Пожалуйста, — канючила Ксюша. — Ну как я в Париже появлюсь так одетая!» — «Цыц!» — отвечал ей Андрей); стричься, покупать мебель в новую квартиру, вообще — покупать.

— У тебя поменяется вкус! — говорил он ей по сотому заходу. — Сейчас это делать бессмысленно!

Но Ксюша все равно дулась. Единственное, что она себе позволила, с одобрения Андрея, — это прелестный серебристый мобильный, чтобы постоянно сжимать его в руке и чувствовать аж сердцем его вибрацию, когда двадцатый раз за день звонил Андрей.

— Ты сейчас где? На Невском? Сфотографировалась на паспорт?

— Ага, — говорила Ксюша, — но я на этой фотографии страшненькая…

— Да бог с ним, что страшненькая, — отвечал быстро Андрей, он опять куда-то бежал. — Тебя на ней увидят разве что не выспавшиеся женщины-пограничники. Так. Теперь страховка. Я

нашел нам приличную, мы не скоро вернемся. И да, кстати! Я уже забронировал билеты!

Выслушав очередную тираду, Ксюша удовлетворенно улыбалась и прятала руку с телефоном обратно в карман — до следующего «выхода на связь». Она уволилась с работы, придумав себе заболевшую родственницу в провинции. Завуч была явно недовольна увольнению посреди учебного года; но больные родственники — тема необсуждаемая. И еще. Втайне от Андрея — смешно, что еще две недели назад его не существовало в ее жизни, а теперь не было ничего, что она бы предпринимала без его ведома, — она сняла пятьдесят тысяч со счета и спрятала их на квартире у родителей. Им на старость. Родителям же Ксюша объявила, что нашла новую работу — сопровождать «новых русских», — это она придумала, чтобы оправдать свои путешествия (а путешествовать она собралась часто!).

— Чего? — недоверчиво протянул отец, оторвавшись от «Спорт-Экспресса». — Это что, типа эскорт-герлз?

— Ты откуда такие слова-то знаешь? — нарочито удивилась Ксюша, дабы скрыть смущение. На самом деле это ЕЕ сопровождал эскорт-бой (и еще какой бой!), но разве такое расскажешь? А

мама в очередной раз попеняла, что она меняет стабильную работу со стабильной же зарплатой на черт-те что, а если потом обратно в школу не возьмут?

— Возьмут, — мрачно ответила Ксюша, которую от одной перспективы уже перекашивало. — У них там вечная нехватка кадров.

И уехала. А кота оставила.

Билеты Андрей взял в бизнес-класс, и, стоя перед стойкой регистрации, Ксюша невольно задумалась. Ее потертая сумка выглядела так же неуместно рядом с шикарными чемоданами Андрея, как и она сама рядом с Андреем. Ясное дело, что даже у девицы на регистрации в голове крутился один вопрос: и что он в ней нашел? На душе у Ксюши стало кисло. Кислота сохранилась и в самолете: Андрей светски читал утреннюю газету (на французском!) и попивал умеренно коньяк, а она мусолила последнюю Донцову, злилась на себя и на жизнь. А потом начала пить красное вино. Настроение неуклонно поднималось вверх. Правда, при посадке их изрядно трясло, и она едва дождалась туалета в аэропорту, где ее и вырвало всем эйрфранцевским завтраком и унижением от этих удивленных взглядов повсюду.

Андрей все, конечно, понял. В лимузине, везшем их в отель, он повернулся к ней, внимательно посмотрел в глаза:

— Ксюша, что случилось? Надралась прямо в самолете, да еще и с таким перекошенным лицом!

— Я больше не могу! — вырвалось у Ксюши. — Все на меня пялятся! Я такая замухрышка рядом с тобой! А они все спрашивают себя, что ты со мной делаешь! А я-то знаааю!

Андрей отодвинулся от нее, подобрав полу элегантного пальто, и стал говорить, глядя строго перед собой, почти без выражения.

— Ксения. Есть вопросы, которые мы, как мне казалось, уже выяснили, поэтому повторюсь. Но, видно, плохо выяснили. Наши отношения — некий контракт. Ты меня содержишь на том уровне, к которому я привык и люблю, а я за это предоставляю свои услуги в организации путешествия и преображении тебя в женщину не только с деньгами, но и со вкусом. Тебе по молодости лет кажется, что отношения людей вокруг тебя — другого свойства. Ты ошибаешься. Любые отношения есть определенного рода контракт. И он либо хорошо, либо плохо прописан и работает в большей или меньшей степени. Отношения твоих родителей не работают, потому что ни

один из них не соответствует ожиданиям другого. В нашем случае все намного удачнее. Только не требуй от меня не предусмотренного контрактом. И я не буду ждать от тебя того, чего ты дать не в состоянии. Это понятно?

— Понятно, — ответила мрачно Ксюша.

— А по поводу взглядов. — Он повернулся к ней и улыбнулся. — Не обращай внимания. Поверь мне, по возвращении обратно никто, слышишь меня, дурочка, никто и не подумает так на тебя смотреть!

Ксюша отвернулась к окну — сделала вид, что хочет увидеть Париж. Но ничего так и не увидела от злости и от слез, застилавших глаза. Легко ему говорить! Ему, такому красавцу! С такой улыбкой!

— Ксюша, — услышала она позади себя тихий и усталый голос. — Нельзя хотеть от жизни слишком многого. Смотри — еще месяц назад у тебя не было никакой надежды попасть в Париж. А сейчас ты хочешь совместить в одном флаконе деньги, путешествия и большую любовь. И тебе кажется, что я — самая лучшая кандидатура.

Ксюше показалось, что она не может больше вздохнуть. Зачем он ей все это говорит? Просто она в него влюбилась! И кто бы ее не понял?!

— Ксюша, — продолжил Андрей мягким тоном, от которого было еще хуже. — Я не лучшая кандидатура. Мы еще найдем тебе супермужа. Просто в твоей жизни давно ничего не происходило, и теперь тебе хочется, как голодному за накрытым столом, всего и сразу. Давай договоримся — больше на эту тему не беседовать. Или я самоустраняюсь. Договорились?

Ксюша молчала. Она и сама не догадывалась, как надеялась на то… Ну, что она с ним и что он ее… И было так больно от этой надежды отказываться. Но если любовь невозможна. Даже если любовь невозможна, она не может ссориться с Андреем! Она просто без него сейчас не выживет! Интересно, он это понимает? Она искоса на него взглянула: Андрей сидел и рассеянно смотрел в окно со своей стороны. Явно понимает. Ксюша вздохнула.

— Ладно, — нехотя сказала она.

Все-таки даже при крушении надежд на нежную страсть ей очень хотелось узнать, какой такой она станет при возвращении, что никто не заметит, что она Андрею совсем «не пара». Андрей повернулся и потрепал ее по голове:

— Вот и славно. Смотри, мы уже подъезжаем.

И правда: лимузин их вырулил на серого камня

— как и все в Париже — квадратной формы площадь с колонной посередине.

— Вандомская площадь, — тоном завзятого экскурсовода заявил Андрей. — Мы будем жить в «Ритце». По старинке, так сказать. Зато не будешь по молодости лет пугаться продвинутого дизайна. Ты к нему еще не готова.

Но Ксюша таки испугалась. Подобострастно-претенциозных (и как они умудрялись это совместить?) носильщиков, швейцаров и гарсонов; алого бархата и позолоты; старинных зеркал в мраморной ванной. Андрей снял им полулюкс: у каждого своя комната плюс общая гостиная. И сразу исчез на целый час — разбирать чемоданы, принимать душ и душиться. А Ксюша по коммунальной привычке долго в душе нежиться не могла (зато постфактум облачилась в необыкновенной красоты белый махровый халат); мрачновато запинала потрепанную сумку в огромные недра платяного шкафа и села листать глянцевую прессу. Когда Андрей появился на пороге гостиной, он был хорош, как всегда. Ксюша отвернулась, чтобы он не прочел в ее глазах, как ей хочется, чтобы они пошли сейчас в ее комнату (хотя можно и в его) и он бы любил ее… Хотя бы тем способом, каким «можно».

— Моя несчастная мисс Дулитл. — Он снял с нее шикарный халат и поцеловал в плечо. — Бедная ты моя испуганная крошка. — И он поцеловал ее в шею. Ксюша закрыла глаза.

Сорок минут спустя Андрей ушел переодеваться, а она — натягивать обратно старую юбку со свитером.

— У нас через 15 минут рандеву в спа с косметологом, — крикнул он ей из своей комнаты. — Поторопись!

«Что еще за спа?» — недоуменно подумала Ксюша. Но если он пойдет с ней, то все не так страшно.

Оказалось, страшно. Прохладными руками девушка-косметолог ощупывала ее лицо и шею (свитер пришлось снять и облачиться в белую бумажную хламиду).

— Серая кожа, — говорила она на плохом английском, обращаясь только к Андрею, сидевшему в расслабленной позе рядом на кресле. — Плохое питание. Плохая экология. Но молодая. Я бы не стала пока прибегать к радикальным мерам вроде лазера, скорее пилинги: выровнять-почистить плюс курс инъекций. Поговорите с нашим спортивным тренером: я так поняла, вы хотите работать также над фигурой? Рекомендую

для массажа взять мсье Рено, с ним все быстро приходят в форму. Да, и обязательно поменять форму бровей.

Андрей покивал:

— Что ж, приступайте, а я пойду погуляю.

Поцеловал ее в щеку и ушел, оставив ее одну! Нет, ну каков нахал!

И закрутилось: процедуры и тренировки чередовались с частотой, достойной хорошего советского санатория. Пока Ксюша могла выходить из отеля только поздно вечером — лицо после пилингов было ярко-красным, — а Андрей наслаждался осенним Парижем, делал закупки зимней коллекции и посещал выставки и картинные галереи. Иногда он снисходил до того, чтобы пообедать с ней в саду бара «Ритца» или в «Эспадоне». Измочаленная тренировками, Ксюша даже не замечала того, что ела, а Андрей отчаивался в такие моменты образовать ее в гастрономическом плане, но сам не отказывал себе в фуа-гра и хорошем к нему сотерне. Он платил ее карточкой, и она смутно представляла себе, сколько это стоит, но думать об этом не хотела — у нее ведь 10 миллионов! И на это должно хватить. Но она так уже устала быть в Париже и ничего не ви-

деть, отправляться в лимузинах с затемненными стеклами то в институт красоты, специализирующийся на волосах, то в объятия страшного, похожего на инопланетный корабль массажного аппарата, что растягивал ей все мускулы и растрясал бренное тело. До потери веса. И, несмотря на то что иногда ей доставались и комплименты («О! Мадемуазель хорошо сложена, ей только нужно убрать два-три сантиметра на талии и подкачать спину для осанки»); несмотря на зеркало, являющее ей постепенно улучшающийся образ ее самой — с блестящими волосами, тонкой светящейся кожей, с которой постепенно сошла краснота… Несмотря, повторимся, на эти явные изменения, ей тоже хотелось гулять по Парижу, ей хотелось наконец одеться! И в Лувр хотелось, и в Орсэ, и в Нотр-Дам! Она как-никак девушка из интеллигентной семьи! Она высказывала это все вечером Андрею за ужином, накрываемом в гостиной их номера, а он только посмеивался. А под конец приконченной на двоих бутылки белого или красного похлопывал себя по колену: она вставала с кресла и, набычившись, шла к нему, садилась на колени и клала голову на плечо.

— Бедная наша богатая девочка, — начинал приговаривать Андрей уже натренированным

голосом. — Никто нас не жалеет. Все сволочи. Морда у нас краааасная, волосы мажут мерзостью, издеваются, гады… А мы вырастем, похорошеем — кстати, ты помнишь, что завтра у тебя по плану коррекция бровей и стоматолог?

— Помню-помню, — говорила ему в теплое плечо Ксюша, — не отвлекайся.

— Да, так на чем мы остановились? Никто, значит, тебя не любит, да? Но скоро все увидят, какая ты у нас раскрасавица и разумница, найдем тебе принца хорошего, тоже миллионера, это если до тех пор всего не потратим, и поведем тебя под венец…

Как ни парадоксально, но вот эти-то сказочки на ночь, с минимальными изменениями изо дня в день, были самым лучшим, что у нее случалось за день. А возможно, и за ночь. Хотя благодаря Андрею теперь ночью с ней происходили тоже разные приятные вещи.

У стоматолога все прошло не так плохо, как она боялась. Врач (обаятельный даже поверх своей белоснежной повязки), конечно, поцокал языком на ее пломбы и, заглянув еще поглубже в рот, чуть ли не заржал — на коренных зубах железным блеском отливали коронки, гордость российской стоматологии наравне с нашим машиностроени-

ем. Даже пригласил ассистентку поглядеть на это диво, восклицая что-то вроде:

— О-ля-ля, какие кастрюли!

И только когда Ксюша покраснела от досады, извинился. Перестав смеяться голубыми глазами, поковырял-поскрипел ей по эмали своими железяками, осветил рентгеном и озвучил:

— Мадемуазель! Я предлагаю вам поставить две маленькие пломбы, сменить (тут лицо его за повязкой сморщилось) ваши самые видные черные пломбы и отбелить зубы. Затем я рекомендовал бы вам поставить брекеты — не беспокойтесь, их не будет видно… — Ксюша только покивала с открытым ртом.

После обеда Андрей повез ее к мастеру-бровисту — мадемуазель Софи. Мадемуазель была практически единственным в Париже специалистом, выделившим под дело выщипывания бровей целый салон.

— Какая-то фигня, — фыркнула Ксюша, — брови я и сама могу выщипывать, а тут это бешеных денег стоит, наверное… — и сама замолчала под ироническим взглядом Андрея.

— Дурында, — Андрей щелкнул ее по носу, — к этой Софи не записаться и за два месяца — к ней ходят все здешние звезды и миллионеры. Мы

сюда попали только по протекции «Ритца» как постояльцы его люкса. Так что иди-иди, пусть пощиплют!

— Лучше бы ты меня пощипал, — мрачно заметила Ксюша.

— Ну да, за самые выдающиеся места, — развеселился Андрей. — Иди уж и не спорь с дядей Хиггинсом.

— С кем с кем?

— Эх, серая ты у меня, Ксения, подкину тебе томик Шоу, а то лицо-то сделаем, а как с наполнением ставшей хорошенькой головки?

— Цыц! — скопировала его Ксюша и с высоко поднятой головой зашла в дверь кабинета.

В кабинете было пусто. На низеньком столике лежало толстое досье: в нем фигурировали голливудские звезды до и после изменения формы бровей. Разница действительно была разительной. Комментарии гласили: «…акцентировать бровь по центру, что позволило выделить скулы Джулии Робертс». Или: «Удлинение линии бровей придало дополнительную утонченность чертам Анджелины Джоли…» Она так увлеклась просмотром, что аж подпрыгнула, когда мадемуазель Софи, в мини-юбке и высоченных сапогах, быстрым шагом вошла в кабинет, окинув Ксюши-

но лицо одним внимательным взглядом, будто втянула его глазами. А Ксюша тоже всмотрелась в «бровистку»: округлое нежное личико без единой морщины, на котором выделялись исключительно глаза. Глаза сорокалетней женщины.

— Сами выщипываете? — спросила Софи. Ксюша осторожно кивнула. — Не так уж и плохо, — похвалила, как к ордену приставила, Софи, приглашая Ксюшу присесть на кресло, близкое по конфигурации к стоматологическому.

Когда почти через час она вышла из кабинета, Андрей был в приемной. Тоже с выщипанными бровями.

— Ну как? — спросил он, а Ксюша издала восхищенный вздох. Андрей преувеличенно-трагически вздохнул: — Пожертвовал собой ради тебя, пошел к мастеру намбер ту. А ты и правда изменилась.

И он повернул ее лицом к окну.

— Во мне появилось нечто утонченное? — томно сказала она, радуясь его внимательному и ласкающему взгляду.

— Не то слово. Чую сердцем, бросишь меня скоро, бедного жиголо. — И он рассмеялся ее сконфуженному лицу. — Надо говорить правду, девочка. А правда заключается еще и в том, что

ты у меня стала почти совсем раскрасавица. Осталось всего три последних задания, и я считаю, что мы заслужили отдых. — И он изогнулся в шутливом поклоне, подав ей руку.

— А какие последние задания? — Ксюша взяла его под руку.

— Ну… — протянул Андрей. — Я придумал еще: прическу, макияж и — наконец-то! Рррадуйся, Золушка! — шмоточный тур на Монтень и Сент-Оноре. Последнее будем совмещать уже с культмассовыми мероприятиями, а то уедешь такой же серой, как приехала, радость моя!

Ксюша счастливо рассмеялась и прижалась к его теплому и надежному боку. Так, прижавшись к нему, она и сидела во время вечернего тура на корабликах. А над ними проплывали огни и мосты, и Андрей иногда целовал ее замерзшими твердыми губами. Романтизм решительно зашкаливал. Ей ужасно хотелось сказать: «Я люблю тебя!» Но вместо этого она спросила:

— Андрей, почему ты такой?

И он не спросил — какой? А просто начал говорить, продолжая греть ее руку в своем кармане:

— Хочешь узнать, как же становятся жиголо? Наверное, надо иметь к этому некую предрасположенность, дорогая. Я рассказал бы тебе

слезливую историю, если ты пообещаешь не пытаться наставить меня на путь истинный. Договорились?

Ксюша в ответ сжала его ладонь в кармане.

— Итак, история трагического падения. Некий юноша любил некую девушку. Это была бедная и честная девушка. Она была из провинции, юноша тоже, но ему уже досталась от тетки комната в центре Питера. Вроде твоей. Но хуже. Девушка училась, а юноша работал, чтобы девушка смогла учиться и они могли прокормить себя. Он работал, а ночами читал, потому что очень боялся «отстать» от нее интеллектуально, и тогда бы она могла его разлюбить и бросить. Девушка была очень-очень умная. Еще какая умная. Ну, и как ты понимаешь, достало ее жить в коммуналке и есть яблоки. Огни большого города сулили иное. Черт ее знает, где она его подхватила, но ушла она от мальчика к мерзкому, старому ревматоидному старику. Из бывших партийных. А мальчик решил — надо и ему попробовать продаться? Как это? И продался — старой, морщинистой, пахнущей кислым потом старухе, вдове народного артиста.

Ксюша медленно вытащила руку из его кармана. Но он этого как будто даже и не заметил.

— Это его первая старуха купила мальчику квартиру и научила выискивать в антикварных лавках бронзовые лампы да английские гравюры. Ну, и отличать хорошую обувь от плохой, а кашемир от мохера.

— А что потом? — Ксюшу трясло то ли от холода, то ли от Андреева монолога.

— Ну а что потом? Потом была деловая дама с большим бюстом и развитым целлюлитом, потом дочь одного судоверфевного бонзы, любительница горных лыж, потом жена этого же бонзы….

Ксюша вдруг вскочила, растолкав стоявших у перил с фотоаппаратами японцев, и ее вырвало прямо в темные холодные воды Сены. Андрей подошел к ней сзади, накинул ей свое пальто на мелко дрожащие плечи. И закурил.

— Тебя со мной очень часто тошнит. А иногда и рвет. — Она скорее почувствовала, чем услышала, как он усмехнулся. — Химическая реакция. Впрочем, это лучше, чем диатез.

В «Ритце» он подошел поцеловать ее перед сном. Ей показалось — впервые, — что от него пахнет кисловато. Старушечьим потом и дряблым телом. Она отшатнулась. Андрей криво усмехнулся и, ничего не сказав, ушел к себе в

комнату, тихо прикрыв за собой дверь.

Прошла еще одна неделя в Париже. Самая прекрасная из недель, пусть еще следовало наносить визиты стоматологу, но основным стало восхитительное по своей преобразовательной сути времяпрепровождение. Во-первых, они наконец-то сходили в парикмахерскую, хотя само это название было бы оскорблением для г-на Маниатиса. Вышла она к Андрею, почитывающему неизменную газету «Фигаро», с «венецианским» рыжим на голове, дающим коже какие-то совсем персиковые отблески и рождающим зеленый блеск в ее, казалось бы, беспробудно серых глазах. Стрижка была короткая и вилась чуть-чуть, спускаясь рыжим ручьем на шею. А шея — это Ксюша увидела сзади — стала нежной и беззащитной. Пришлось снова идти к мадемуазель Софи, чтобы та покрасила брови в нужный цвет. А потом еще к одной мадемуазель — что работала на всех мало-мальски приличных показах визажистом и принимала прямо в своей огромной квартире с видом на Сену и Дом инвалидов. Маленькая, полненькая, без грамма косметики на лице, она быстро смешивала светоотражающие кремы с тональными в ладони, разогревала пальцами и накладывала на послушно подставленную

Ксюшину физиономию. По-английски она знала только одно слово: Look! И Ксюша как завороженная смотрела в окружающие их по кругу зеркала. Вот один тон пудры, почти невесомый, ложится на все лицо, придавая ему загорелый вид. Потом еще тон, уже розовый, — и только на верх щеки, лба, подбородок: «вылепливая» высокие скулы, зрительно увеличивая лоб. И губы — сначала один, потом другой карандаш, потом нежный блеск — и рот становится полнее, нежнее. Пальцем — в ложбинку над верхней губой — блеск, очень светлый — и в этой детской припухлости рождается капризный и чувственный изгиб… Ксения не знала, куда смотреть: в зеркало — на себя, на красавицу, или на движения, то быстрые, то замедленные, маленьких рук с коротко остриженными ногтями. Полупрозрачные перламутровые тени — чуть-чуть на веки: «Look!» — говорила мадемуазель. «Запоминай!» — шептала про себя Ксюша, стараясь сосредоточиться и ничего не забыть. А как тут не расслабиться, когда от восторга перед тем, что творит с ее лицом эта чудная мамзель, хочется полностью отключиться и преображаться, преображаться, преображаться…

Выйдя от нее на залитую солнцем набережную,

Ксюша впервые заметила, что на нее смотрят мужчины. Все. Ей сразу захотелось выпрямить спину. Действительно ли она была так хороша? Или это просто от счастья?

Еще два дня они отдали с Андреем бутикам: это было очень весело — вокруг Андрея ходили кругами сладкоголосые продавщицы и делали Ксюше комплименты, а он был и правда очень ею горд. Что, впрочем, не мешало ему резко обрывать ее, когда та или иная вещь, выбранная Ксюшей, ему не нравилась.

— Господи, ну что это? Ксюша, ты же не подружкам своим дворовым будешь демонстрировать новые шмотки! Что за стразы и это голое пузо с надписями «Диор» по всему полю?! Я тут бьюсь, аки рыба об лед, леплю леди, и что?! И где?! Никаких лейблов, никаких внешних признаков, ты понимаешь меня? — Они шли по Сент-Оноре, и навстречу им попадались дамы с явными «внешними признаками».

— Это моветон, как ты не понимаешь? — Он показал на них глазами. — Только ты должна знать, что твоя юбка от Гуччи. И тот, кто в этом разбирается. И это будет твой «клуб», твой «круг посвященных», это туда я тебя пытаюсь пропихнуть, дурочка! А тебе все хочется доказать чего-то

своей коммуналке! С этим покончено, ты туда не вернешься, забудь!

— Я не могу, — тихо ответила Ксюша. — Забыть. И еще непонятно, куда я вернусь.

Андрей повернулся к ней и взял за плечи.

— Все. Мы закончили все дела в Париже. Едем искать тебе мужа.

— Что? — ошалевши, спросила Ксюша. — Куда?

Но Андрей уже переступал порог следующего бутика.

* * *

В марте в Ницце межсезонье. В море еще холодно. Зато прогулки по паркам и по ближайшим холмам, заросшим цветущей мимозой, чей сладкий и свежий запах перекрывал все прочие, были упоительны. Они гуляли почти каждый день, ели на открытых террасах, подставляя себя под лучи такого еще нежного солнца и солоноватого ветра. А вечером Ксюша, по выражению Андрея, «делала усилие» и, вспоминая уроки макияжной мадемуазель, марафетилась, надевала платье с открытыми плечами, каблуки и спускалась с Андреем (тоже безумно элегантным) в ресторан. Где такая же ослепительная (голые плечи плюс бриллианты) публика поглощала ужин. Впрочем,

эту пару нельзя было не отметить — ее рыжая головка, под которую Андрей ей выбрал три атласных платья: черное, зеленое и красное, — теперь заставляла поворачивать головы так же, как и Андреева мужественная красота.

Под конец первой недели они заметили, что некий блондин с круглым ласковым лицом старается сесть поближе к их столику и бросает украдкой на Ксюшу пламенные взгляды.

— На ловца и зверь бежит, — лениво протянул Андрей, тоже поглядывая на него оценивающе. — Надо выяснить о нем по максимуму у консьержа. Перстень с печаткой — видать, дворянских кровей… Повезло тебе, Ксюха. Хорошо сшитый пиджак. Ботинки… — Андрей чуть наклонил голову. — Ботинки ручной работы. Обувь делает мужчину, запоминай. Значит, так. Я сейчас устрою тебе маленькую сцену, не очень сильную, и уйду из-за стола. А ты покручинишься еще минут двадцать за последним бокалом. Будем надеяться, что он подойдет.

— А если не подойдет? — испуганно зашептала Ксюша.

— А ты постарайся, чтобы подошел! — Андрей повысил голос, что с ним никогда не случалось, и Ксюша обомлела, но тут увидела, что он ей

подмигнул. Сцена началась!

— Не уходи, пожалуйста, я боюсь. — Это была правда, и Ксении даже не пришлось играть умоляющий тон.

— Волков бояться — в лес не ходить, — холодно добавил Андрей. — Все, вот твоя первая проверка. Я буду в номере.

Он бросил чуть театральным жестом белоснежную салфетку на стол, встал и, не оглядываясь, вышел из зала. Получилось более чем вызывающе. Ей казалось, что все в зале на нее глазеют, а уж про круглолицего и говорить нечего. Ксюша покраснела и уставилась в свой бокал. Как он мог ее так бросить! Отдать на растерзание в этом чужом месте, среди чужих людей! Слезы навернулись ей на глаза.

— Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил по-английски голос с нежным акцентом.

— Нет, — ответила Ксюша, подняв глаза. Перед ее столиком стоял круглолицый.

— Вы позволите присесть с вами рядом? — Ксюша кивнула. — Простите, если я вам надоедаю. Так редко получается встретить такое удивительное лицо, как у вас.

Ксюша в первый раз посмотрела прямо на него. Он шутит? Нет вроде.

— Спасибо, — вежливо ответила она.

Знал бы он, что это, можно сказать, ее первый комплимент, идущий не от обслуживающего персонала и не от снисходительного Андрея…

— Мне бы очень хотелось с вами встретиться. — Он помолчал. — Не расстраивайтесь по поводу своего молодого человека. Вы для него просто слишком хороши. Вы такая сильная.

Нет, то ли она не поняла его примитивного английского, то ли он все-таки шутит?

— Спасибо, — повторила она и стала вставать из-за стола. Салфетка упала на пол, и, поднимая ее, они стукнулись лбами. Ксюша зарделась. Все-таки он очень милый.

— Завтра, — сказала она. — В три часа.

И уже поднимаясь к себе на этаж на лифте, подумала: почему три часа? Ну да ладно. Зато она сдала экзамен! Он с ней заговорил! И назначил свидание!

Андрей ждал ее с нетерпением.

— Ну! Рассказывай! — потребовал он, как только она переступила порог комнаты.

Ксюша рассказала. Андрей был явно ею доволен. И это было и приятно, и обидно одновременно.

— Отдаешь меня в чужие руки! — сказала она насмешливо. Но с затаенным укором.

Андрей укор уловил и поморщился:

— Боги, боги мои! Ксения! Ну опять те же и — Ксения. Акт 33! Ты в курсе, сколько мы потратили уже денег? По сравнению с 10 миллионами немного, а по сравнению с твоими заработками — очень много. И на меня, если не считать твоей квартиры, много больше, чем на тебя! Ну, я же знаю женщин! Сейчас ты считаешь, что я «отрабатываю» свой гонорар, но, поверь мне, у меня больше в этом деле опыта. (Ксюша нахмурилась.) Через год ты захочешь либо от меня избавиться, потому что найдешь себе ради разнообразия другого альфонса (Ксюша фыркнула), либо, чего я тебе искренне желаю, просто хорошего парня. А если не найдешь — хотя в этом я сильно сомневаюсь, — в этот момент во взгляде его читалась настоящая отцовская гордость, — значит, будешь меня терзать на тему большой и чистой любви. А я, дорогая, по остаточной нашей альфонсовской гордости пытаюсь уйти, пока мне еще не дали пинка под зад, — ты уж прости мне эту маленькую слабость! И, кроме того, я и правда очень доволен результатом наших совместных трудов. — Он ласково взъерошил ей волосы. — Мы

обработаем этого парня — я, кстати, узнал, он у нас чуть ли не баронет. Чуешь, Ксюха, баронет! Я буду не я, ежели не организую тебе такую блестящую партию. А теперь быстро — в постель! К завтрашнему свиданию ты должна быть без кругов под глазами!

И поцеловал в лоб. В лоб! Ксюша решила, что раз уж она такая красавица теперь (интересует баронетов!) и раз уж он потратил так много ее денег (эта мыслишка была лишней, но прогнать ее не получалось), то, черт возьми, пусть ее целует как надо! И он поцеловал ее как надо! И мягко снял с нее ее шелковое платье, и она чувствовала, что вся она, в его руках, защищена. А ее нежная после скрабов кожа, ее подтянутый после массажей живот, ее детские колени, ее трогательный затылок с золотыми завитками — все им отмечено и обласкано. «Ладно, — подумала она, засыпая у него на плече. — Пусть уходит. А то ведь привыкну к нему… И мужа никакого не захочется. Даже из баронетов».

На следующий день они с Андреем со скандалом выбирали, что ей надеть: брюки, низко сидящие на талии, с ботинками а-ля мальчиковыми, в мелкую дырочку; майку, простую, белую, оттененную чуть загорелой кожей; и пиджак в

клетку, из хорошей английской шерсти, серый с зеленью, с замшевыми заплатками. Спустившись вниз и оглядев себя еще раз в многочисленных зеркалах, она поняла, что Андрей был, как всегда, прав. Она была такая… европейская. Круглолицый баронет (Андрей сказал ей, что они должны спуститься вместе, но разговаривать мало и холодно — пусть поревнует, но не теряет надежды) сидел на обычном месте.

— Глядит, — незаметно шепнул ей Андрей, почти не разжимая губ. Они молча просидели за завтраком, а затем поехали в музей Шагала — Андрей его очень любил, а Ксюшу тот чуть-чуть пугал своим невыносимо-жгучим цветом. Потом не спеша перекусили где-то в старой Ницце и к трем часам подтянулись к отелю на набережной.

— Тут разойдемся. — Андрей повернулся к ней и подмигнул. — Не будем смущать твоего Ромео.

— А ты что будешь делать? — спросила Ксюша, которой идти было и боязно, и любопытно. Но больше боязно.

— Я-то? Я, старый пень, пойду себе, завалюсь с книжкой.

И он, посвистывая, пошел себе вперед: даже не поцеловав ее на прощание и ни разу не оглянувшись.

Баронет ждал Ксюшу в баре. Он сразу же вскочил со своего высокого табурета, чтобы помочь ей сесть. Вот что значит — баронет. Ксюша заказала «Космополитен». Как в «Сексе в большом городе». Он — бокал красного вина. Как и положено французу.

— Я очень рад, что вы пришли, — сказал он тихо, когда бармен, поставив перед ними бокалы, отошел. — Я не был уверен, что у вас… получится.

Ксюша потупилась. У нее ведь был Отелло. Официально. Неофициально ее Отелло дал Ксюше в первой половине дня кучу инструкций:

— Не ври. Твоя неопытность бросается в глаза. Надо превратить ее в плюс. Делаем из тебя девочку благородных кровей, живущую в бедности в квартире дома, который принадлежал твоим предкам, а потом был национализирован революционным правительством…

— Как будет «национализирован» по-английски? — сосредоточенно спросила Ксюша.

Игра ее и правда начала развлекать. Но сейчас, сидя перед баронетом, она испугалась. Ну что у нее может быть общего с таким персонажем? А тот взял ее неловко за руку.

— Простите, что я стал настаивать на встрече,

это крайне невежливо с моей стороны. Вы ведь здесь со своим женихом.

— Нет, — быстро сказала Ксюша и так дернулась на своем высоком стульце, что пролила на себя добрую половину «Космополитена».

И тут баронет вынул из верхнего кармана пиджака шелковый платочек (о боги!) и стал вытирать брызги с тонкой футболки — в непосредственной близости от ее совсем не пышной груди. Ксюша и так была смущена, но этот жест произвел эффект удара молоточком невропатолога по колену особенно нервного пациента. Она вздрогнула, табурет покачнулся, и Ксюша полетела вниз, хватаясь в испуге за твидовый рукав баронета… Кульбит завершился на мягком, слава тебе господи, ковре. С баронетом на ней. Красным от неожиданности и от смущения. С помощью бармена и пары фраппированных их внезапным падением посетителей они неловко поднялись.

— Пойдемте на улицу, — шепнул ей баронет.

И они пошли. Они гуляли по набережной, а потом поднялись в парк. В парке было хорошо и покойно. И говорить было просто. Врать следовало исключительно про «белоэмигрантскую» семью, отъехавшую во Францию после революции, и адвоката, нашедшего ее следы только

после того, как двоюродную сестру бабушки хватил сердечный криз и все ее значительное состояние досталось ей, Ксюше. А все остальное — коммунальная квартира с ее каждодневными прелестями, работа в школе, одиночество… придумывать ничего было не надо. Баронет ей, в свою очередь, рассказал, что он не баронет, а граф (и какая разница?) и единственный сын. Что он закончил бизнес-школу и начал работать в банке. Но что эта работа ему скучна и неинтересна… И он решил прекратить на некоторое время работу в офисе, чтобы понять, чего он хочет в жизни. Дени — так его звали — чувствовал в последнее время, что он очень одинок. Он внимательно посмотрел на Ксюшу. Но Ксюшу так было уже не смутить, и она спокойно ответила в том ключе, что, мол, да, хочется найти человека…

Но тут вспомнила, что у нее есть «жених», и придала лицу грустное выражение:

— Только у меня это пока не очень хорошо получается… — Она улыбнулась меланхолично, а Дени нащупал ее ладонь и, глядя не на Ксюшу, а на морскую гладь, сказал:

— Ксения! (так он ее звал «Ксения» — нежно). Я восхищаюсь вами. Я, кажется, вам это уже говорил. Вокруг меня очень много девушек из очень

хороших семей… Но нет никого, похожего на вас.

Ксения смотрела на его профиль. Даже по профилю видно было — граф. Восхищается ею, Ксюшей. Она не выдержала и поцеловала его в щеку. Получилось по-детски. Он резко обернулся, чтобы поймать ее губы. Но Ксения уже отстранилась и широко улыбнулась.

— Это вам за комплименты. Я к ним не привыкла.

— Как такое может быть? — Он посмотрел на нее ошарашенно.

«Знал бы ты, голубчик, какая я была еще месяца два назад…» — подумала она, поглядев на него почти с нежностью. Ведь он первый не будет знать (ее рассказы — не в счет), что такое ее коммуналка и какая она была — с серой кожей и потухшим взглядом, пока ее не нашел ее лотерейный билет. Пока ее не нашел ее Андрей.

— Пойдем обратно, Дени, совсем стемнело.

— Мы встретимся завтра? — в голосе Дени было столько надежды, что ее можно было бы потрогать руками.

— Ну, конечно, — ответила Ксюша, а потом поправилась, согласно их с Андреем сценарию: — Если получится, конечно.

— Понимаю. — Дени потемнел лицом и на об-

ратном пути мрачно смотрел себе под ноги.

В отеле ее ждал развалившийся на диване Андрей с сигарой и коньяком. Вид у него был очень расслабленный, но по тому, как он подобрался, как только она открыла дверь, Ксюша поняла: ждал!

— Ну как? — спросил он, снимая с нее пиджак и наливая коньяк в пузатый бокал.

— Ну как. Как! — Ксения уселась поудобнее, согрела, как положено, бокал в ладонях и начала рассказ.

Андрей слушал внимательно, задавая кучу вопросов по ходу дела. То одобряя, то критикуя, то посмеиваясь.

— По-моему, — заключил он, — парень втюрился! — И добавил тоном старой тетушки, следящей за нравственностью сиротки-племянницы: — Целовались с ним али как?

— Али как, али как, — ответила, зевая, Ксюша, прошествовав в ванную.

— Ужин закажем в номер, — крикнул ей вслед Андрей. — Пусть парень наш помучается.

— Мне — лососину, — ответила из ванной Ксюша.

Андрей уехал через неделю. Роман с Дени развивался под его чутким руководством, хо-

тя последний об этом и не подозревал. Андрей говорил Ксюше, когда надо целоваться, когда исчезнуть, когда наконец остаться на ночь. Они разыграли пару сценок перед персоналом отеля и постояльцами: по легенде, герой, которого изображал Андрей, понял, что девушка любит другого, и решил «покинуть поле боя». А героиня бросилась — что взять со слабой женщины? — в объятия счастливого соперника. Таковы жестокие правила счастливой любви.

Ранним утром Андрей собирал свои чемоданы. Ксюша с побитым видом сидела рядом. Только сейчас она заметила, что чемоданов и вещей, соответственно, у Андрея стало в два раза больше. Хоть как-то Ксюша ему пригодилась. Что она будет без него сейчас делать? Она уныло посмотрела в окно. Вот и погода испортилась…

— Нечего хныкать. — Андрей аккуратно распихивал по фланелевым сумкам бесконечные пары обуви. — По нашему сценарию, я должен был слиться уже неделю назад. А я все еще торчу тут, аки не только несчастный, но уж совсем несообразительный влюбленный.

Он потрепал ее по затылку и захлопнул одним жестом раскрытую пасть чемодана. Поискал что-то в кармане небесно-голубых джинсов, надетых

специально для перелета.

— Вот. — Он протянул ей карточку, такую же, как и та, которая осталась в ее коммуналке. — Не забудь. Если вдруг с тобой что-нибудь случится, в общем, если что…

Ксюша с удивлением заметила, что он явно смущен. Ну надо же! И зачем ей его визитка? Она и так наизусть помнит Андреев телефон…

— Звони! — сказал он.

После чего подхватил чемодан, поцеловал в лоб и быстро вышел из номера. Ксюша приготовилась уж порыдать, но тут на мобильник позвонил Дени. И пригласил поужинать. Надо было срочно наводить марафет — в плохие рестораны Дени ее не приглашал.

В этот раз, впрочем, он превзошел самого себя: ресторан находился на горе в старинной крепости, с террасы, где стояло всего пять столиков, открывался восхитительный вид на закатное небо и окрашенное в розовое море. Тихо играл саксофон.

— Ты веришь, — спросил Ксюшу Дени, в темно-синем бархатном пиджаке и белоснежной рубашке похожий, как никогда, на принца из книжки Шарля Перро, — что людям нужно жить вместе, чтобы понять, подходят ли они друг

другу?

Ксюша задумалась:

— Ну, в принципе, да.

— А я — нет. Не верю я в это все! Двое влюбляются друг в друга, это такое чудо. Чего ждать? Все дело шанса и случая. Ты понимаешь? — Ксюша кивнула. — Ведь бывает, что супруги выясняют, что не созданы друг для друга, и через двадцать лет. Или вдруг происходят какие-нибудь серьезные события, и человек открывается совсем с другой стороны. Ты видишь, что он вовсе не таков, как казалось.

— Я согласна. — Ксюша повертела в руках опустошенный бокал из-под шампанского. — Никогда нельзя знать точно. И потом… — Она вспомнила своих родителей. — Люди меняются. Замуж выходят одни, а через десять лет они совсем другие…

— Главное, — сказал Дени с какой-то внутренней силой, — чтобы люди менялись в одну сторону, когда живут вместе. Я никогда не хотел жить с кем-то, похожим на меня. — Он опять взял ее за руку. — Мне кажется, что нам бы было хорошо вместе, Ксениа!

Ксюша смотрела на него, не зная, что ответить. Никакого сценария они с Андреем на этот случай

не предусмотрели.

— Мы вместе открывали бы для себя жизнь с разных сторон. Нам есть чему поучиться друг у друга. Это будет весело, Ксениа! Соглашайся!

Ксении показалось, что терасса уходит у нее из-под ног.

— Соглашаться на что? — едва слышно сказала она.

— О! — Дени хлопнул себя по коленке. — Извини меня, я такой неуклюжий! Это потому, что я в первый раз делаю предложение руки и сердца.

Он достал из внутреннего кармана синюю, в цвет пиджака, коробочку и придвинул ее к Ксюше. Ксюша глубоко вдохнула. Ей показалось, что весь ресторан на них смотрит (впрочем, так оно и было). Чуть дрожащими пальцами открыла коробочку. На черном бархате сиял желтоватый квадратный бриллиант. Большой.

— Я не знал точно твоего размера, — смущенно продолжил он. — Тебе нравится?

— Мне… Мне очень нравится, — сказала Ксюша, продолжая держать в руках коробочку.

— Я люблю тебя, Ксениа, — торжественно произнес Дени. — И хочу, чтобы ты стала моей женой.

То ли от музыки, то ли от заката, то ли от нее,

влюбленности, слезы навернулись Ксюше на глаза. Никто. Никто и никогда не говорил ей таких слов. Ни про «люблю», ни уж тем более про женитьбу.

— Я тебя тоже, — само собой вырвалось у Ксюши.

Дени пришлось самому вынимать и надевать ей на палец кольцо. Оно ей было как раз. Вокруг все вдруг захлопали, им принесли еще одну бутылку шампанского «от заведения», а саксофонист подошел к их столику, чтобы сыграть нечто романтическое. Тут уж слезы потекли потоком. Как все здорово в ее жизни! У нее есть любовь, и граф, и будет свадьба! И она стала красавицей! Как жаль, что Андрей ее сейчас не видит! Она украдкой посмотрела на часы: он, наверное, уже приземлился. А солнце тем временем совсем закатилось.

Всю следующую неделю они провели в одном номере — бывшем их с Андреем. Решили справить свадьбу быстро, в мэрии, а потом уже представиться родителям жениха: Дени объяснил, что мама у него свихнулась на почве йоги и увезла отца в какую-то тибетскую деревню на несколько месяцев. Ксюша была не против — она несколько побаивалась графской семьи. Она

купила себе к свадьбе бело-розовый костюм от Ив Сен-Лорана — того самого Сен-Лорана, о котором ей когда-то смутно мечталось в коммуналке. И поторапливала своих ошарашенных родителей, чтобы выслали все необходимые документы. Но на теплом юге все делается много быстрее, чем в Париже. Наличие некоторой сноровки (100 евро, вложенных в папку с документами) позволяло иногда обойтись копиями вместо оригиналов.

И вот наконец наступил вечер накануне «самого главного дня в жизни каждой девушки». Дени предложил провести этот вечер по отдельности — чтобы на следующий день особенно сладким стало воссоединение. Он собирался праздновать свой «мальчишник» с их завтрашними свидетелями: все будет пристойно, пусть любимая не сомневается. А Ксюша снова примерила свой костюм, шляпку и лодочки, поужинала в номере и решила пораньше лечь спать. Хотелось иметь свежий цвет лица. Заснуть никак не получалось: она все прокручивала в голове завтрашний день. Может, все-таки позвонить Андрею? Уж он-то нашел бы способ ее успокоить, одним этим своим, таким уже родным, ироничным голосом. «Ну уж нет, — сказала она сама себе строго, — учись быть самостоятельной, замужней дамой». Только

подумав о себе в таких выражениях, она самодовольно улыбнулась в горячую подушку. Уже завтра она будет замужней — с ума сойти! Мадам де Гари де Фуше! На этой торжественной мысли Ксюша наконец погрузилась в беспокойный сон. Ей снилась школа: на ее урок никто не пришел, даже отличница Липина, и директриса ругала Ксюшу, а коллеги смотрели почему-то враждебно… Ксюша стыдливо опускала глаза долу, когда заметила, что она в белом костюме и свадебных лодочках! Во сне ее окатило волной холодного, липкого ужаса: ее ведь ждут на свадьбе! Что же она делает в Питере?! Она никогда не успеет добраться вовремя! И тут Ксюша проснулась.

В щель между тяжелыми шторами било южное солнце. Был день ее свадьбы. Она подошла к окну и залюбовалась на блестящее под солнцем море в мелкой ряби, пальмы на набережной, пенную лепнину балкона… Когда через час в дверь постучались маникюрша, парикмахерша и визажистка, Ксюша уже была одета. Еще через три часа с помощью улыбчивого швейцара она погрузилась в недра заказанного белого лимузина. «Это ведь ничего, — говорила себе Ксюша, — что она чувствует себя звездой? Не очень нескромно для учительской дочки из пригорода? На кого же

она сейчас похожа? — Она приоткрыла влажный «натурально-девичий» рот. — На Шерон Стоун? Или Николь Кидман?» Так и не разрешив этот серьезный вопрос, она приготовилась выйти как можно изящнее на площадь перед мэрией.

Но что-то было не так. Площадь была пуста: никакого предчувствия праздника. Не было ни фотографа, ни Дени, ни свидетелей… Только группа полицейских, проводивших ее лимузин внимательными взглядами. А один даже подошел к машине, как только та остановилась, и, открыв дверцу, что-то сказал Ксюше на французском, а потом и на английском. Ошалевшая Ксюша поняла только, что ей нужно подвинуться (что она и сделала) и что они едут прямо сейчас в полицию.

— Куда? Как? — только и могла повторять ошалевшая невеста, то ли Шерон, то ли Николь, а лимузин уже тормозил перед полицейским участком.

Допрос длился почти столько же, сколько понадобилось на наведение красоты утром. Каким далеким казалось это утро… как голливудские мечты в рабочем поселке. Отчего же она решила, что у нее может быть все, как у Шерон?

— Ваш жених Дени Онглуа — международный

мошенник. Его специализация — богатые вдовы и состоятельные юные мадемуазель без близких родственников. У вас не пропадало в последнее время банковской карты?

Ксюша рассеянно кивнула — да, кажется, пропадала. Но потом быстро нашлась, и в предсвадебном угаре она не обратила на это никакого внимания.

— Он получил доступ к вашим счетам, мадемуазель, — полицейский посмотрел на Ксюшу сочувствующим взглядом. — Вы понимаете меня, мадемуазель?

Мадемуазель…. А ведь она должна была уже зваться мадам… Какие идиотские мысли лезут в голову! Ксюша так покачала-покрутила головой, что не понятно было, то ли она понимает, то ли нет.

— Мы ведем его уже пять лет с помощью Интерпола. Онглуа наследил не только в Европе, но также в Китае, в Соединенных Штатах и — тут инспектор проконсультировался со своими записями — в Чили.

— Его же зовут де Гари де Фуше? — некстати спросила она.

Полицейский (или это был агент Интерпола?) удачно сдержал иронический оскал:

— Что вы, мадемуазель, что он вам наговорил? Граф? Упаси бог — сын преподавателей начальной школы в Нанси!

— Коллега, значит, — сказала вслух по-русски Ксюша.

— Простите? — переспросил полицейский.

Ксюша устало махнула рукой — не обращай, мол, внимания, парень. Теперь многое стало понятным — и непредставление родителям, и отсутствие друзей: «Дорогая, я приглашу всех прямо на нашу импровизационную свадьбу…» М-да.

— Позвольте ваше кольцо, мадемуазель.

— Что? — очнулась от невеселых мыслей Ксюша. — А… кольцо. — Она сняла тяжелую драгоценность с пальца. В душе родилась безумная надежда — вдруг все это сон, ведь бриллиант настоящий и стоил, наверное, кучу денег?

— Цирконий. — Полицейский покрутил кольцо в руках. — Хорошая подделка. Если позволите, мы его оставим себе — магазинов, торгующих подобными сувенирами, немного.

«Не успел Андрей научить ее понимать в драгоценностях», — с тоской подумала она. Много чему он ее еще не научил. Андрей! Как же она не подумала сразу об Андрее! Он — единственный, кто может ее утешить и посоветовать. Скорее,

скорее ему позвонить!

— Может, удастся снова выйти на его след, — продолжил полицейский. — В любом случае банк должен вам выплатить всю списанную сумму. Конечно, страховая компания будет некоторое время изучать ваше досье, но думаю, в результате у вас получится вернуть деньги. Мы, со своей стороны, окажем содействие… — бубнил полицейский.

— Можно я позвоню? — перебила она. Ей почему-то стало наплевать на деньги.

Полицейский молча подвинул к ней телефон. Дрожащими от волнения пальцами она набрала выученный еще в Питере номер.

— Алло, — произнес совсем близко голос Андрея. Вокруг него шумел город: слышались чей-то говор, шум проезжающих машин.

— Это я, — сказала Ксюша.

— Ксюша! — он явно обрадовался. — Как ты?

— У меня жених сбежал из-под венца! — начала Ксюша с самого обидного.

А потом продолжила — уже сплошным потоком — и про цирконий, и про Интерпол, и про чилийских и китайских невест, и на этом месте Андрей стал хохотать. И она, хотя ей было очень себя жалко, не могла не зайтись таким же, как у

него, звонким смехом. И так заливисто ей смеялось, что аж слезы текли по лицу, а полицейский смотрел на нее с испугом, думая, что у потерпевшей истерика.

— Ладно, — сказал, отсмеявшись, Андрей. — Согласен. Сваха из меня никакая. Буду отмаливать грех. Давай приезжай. А то я уж без тебя, дурочки, соскучился. Едешь?

«Ты меня любишь?» — хотелось спросить Ксюше. Но это был «неправильный» вопрос.

— Еду, — ответила она.

— Тогда бегом собирай чемодан и дуй в аэропорт в Ницце, — перешел на деловой тон Андрей. — Оттуда каждый час самолеты в Париж. Либо успеешь на прямой рейс в Питер, либо через Москву. Но через Москву умаешься. Так что сейчас же трубку положила и бегом! Я зарезервирую билет из Парижа.

Господи, как ей сразу стало хорошо! У них все продолжается. Все как обычно — он о ней заботится, они — вместе!

— Я люблю тебя, — хотела было сказать Ксюша, но этого тоже было нельзя.

Она бы крайне удивилась, что, стоя с непокрытой головой посреди заснеженного Литейного, Андрей хотел произнести те же слова. Но вместо

этого просто нажал отбой.

Еще через восемь часов самолет с Ксюшей наконец приземлился в Пулково. Было уже темно. И очень холодно. Ксюша забрала чемоданы и вышла в зал ожидания. Андрей уже был там — все такой же элегантный и насмешливый. И Ксюша бросилась к нему, оставив чемоданы одиноко стоять на выходе. Долгий день ее незадавшейся свадьбы закончился. И закончился правильно. В объятиях ее жиголо.

Да, и последнее. Андрей Ксюшу не обманул. Все, глядящие на эту парочку, думали — как же они подходят друг другу. Эти, черт их побери, влюбленные красавцы.

Лариса Райт
Коллекционер

— Скукотища, — уныло сообщил Константин морю, и ему показалось, что магнолии под балконом одобрительно закивали своими дурманящими цветами. Он вернулся в номер и полоснул взглядом по спящей добыче, силясь вспомнить, как же ее зовут. И почему только они вечно выдумывают какие-то громоздкие псевдонимы, будто несколько затейливых слогов в собственном имени могут придать значимости? В последнее время Жозефины, Джульетты и Ариадны… (Ах да, Ариадна!) встречались на его пути гораздо чаще Зин, Юль и Ань. И что интересно, их жеманные улыбки и неприкрытое желание нравиться раздражали его. Куда подевались загадочность, девичья стыдливость и мягкое кокетство? Современные девицы, выпрыгивающие из собственных трусиков чуть ли не раньше, чем кавалер обратит на них взор, отнимали сомнения в исходе игры, лишали победителя наслаждения, а главное, забирали у него самое ценное: чувство полного удовлетворения от блестяще разыгран-

ной партии.

Он растянулся рядом со своим вчерашним приобретением, попытался снова заснуть, но тоскливые мысли о потраченном впустую отпуске назойливо вертелись в курчавой голове со следами уже наметившихся залысин. Никогда еще Коктебель не обходился с ним так жестоко. За пятнадцать лет ежегодных визитов каждая поездка в конце концов вознаграждала приятными воспоминаниями об очередном разбитом сердце. Да, ему было о чем рассказать и чем похвастаться. Он считал себя большим знатоком женской психологии, способным расположить к себе любую даму. Чем недостижимее казалась цель, тем больший интерес он испытывал.

Он и сам не смог бы однозначно ответить, что интересует его больше: процесс или результат. Наслаждение, которое он получал в постели с очередной жертвой, в полной мере соответствовало удовольствию от выбора мишени, разработки плана и той блестящей актерской игры, которой требовало приведение этого плана в действие. Режиссуре своих любовных похождений он предавался самозабвенно, считал себя мастером эпизода, не упускающим ни единой хоть сколько-нибудь значимой детали для ловкого опутывания

сетями наивных дурочек. Опыт подсказывал, что для большинства особей хватит обыденного давления на жалость, ибо основная масса этих длинноногих, фигуристых организмов обожает опрокидывать на обиженных судьбой ушаты нерастраченной нежности. Однако слезливые истории о потерянной любви, смертельной болезни и непролазном одиночестве, безотказно действующие на загорающих дамочек, претили ему своей предсказуемостью. К тому же он охотился за признанием, в собственных глазах был героем, а герой, уж конечно, достоин чего-то гораздо большего, чем сочувствие. Археолог, приехавший прямиком из египетской экспедиции, завоевал восхищение студентки исторического факультета; педиатр, не позволяющий детям тоннами поглощать мороженое, — восторг у матери-одиночки. Он вдохновенно перевоплощался в самые разные личности и с удовольствием проживал их жизни.

А что теперь? Куда катится мир? Женщины готовы идти за кем угодно, посулившим им желаемые земные блага. Мечты, конечно, у всех разные, но достаточно одного взгляда, чтобы понять, грезит она о шести сотках в Подмосковье или об английском газоне на Французской Ривье-

ре. Первые согласились бы пойти за ним на край света после парочки дежурных комплиментов, вторым хватало взятой в аренду машины с водителем, ужина в дорогом ресторане и постоянных «деловых» переговоров по телефону с воображаемыми собеседниками.

Константин трезво оценивал возможное отношение к его поведению. Без сомнения, многие назвали бы его обыкновенным бабником, причем наихудшим представителем этой породы. Но если бы это было так, его бы нимало не расстроила наметившаяся тенденция к всеобщей женской доступности, а он грустил и даже страдал. Сам он себя считал коллекционером и жаждал пополнения своих богатств раритетными экземплярами, охота за которыми доставляла истинное наслаждение. Теперь же процесс ухаживания занимал… Сколько же он занимал? В среднем от двух часов до двух дней. Года три назад была, правда, одна мадам, которую он умасливал неделю, но и тогда не удалось ощутить восторга от пойманной в сети добычи. Как раз в тот момент, когда он размышлял, какая из его придумок заставила-таки ее пойти на попятный, женщина смущенно проворковала ему в подмышку, что «ребенок будет у бабушки еще два дня, и поэто-

му...». И поэтому все сразу встало на свои места: подняться к нему в номер все это время мешало не отсутствие желания, а наличие в крови обыкновенного материнского долга.

Проклятая демографическая ситуация, заставляющая женщин радоваться контакту с любым, даже самым убогим самцом, вызывала в нем все большее беспокойство. Глядишь, в следующий приезд и вовсе не придется предпринимать каких-либо шагов: женщины сами будут знакомиться, спрашивать телефон и номер комнаты, записываться на прием, а то и очередь живую организуют прямо на пляже.

От собственных мыслей Константин брезгливо поежился и, поддавшись внезапному порыву, обнял сокровище с именем Ариадна просто из благодарности, что она продержала его на расстоянии чуть дольше суток. Клубок конечностей под его рукой томно пошевелился.

— Сколько времени? — тянет лениво, не открывая глаз.

— Десять.

— Хах! — Одеяло накрывает мужчину с головой. Девушка метушится по комнате, пытаясь одновременно пригладить взлохмаченные кудри и натянуть мятую юбку.

— Завтрак, я так понимаю, предлагать не стоит. — Константин безразлично наблюдает за суетой.

Ариадна (уже причесанная и одетая) высовывается из ванной с одним подведенным глазом и зубной щеткой во рту.

— Ш ума шошел! Я ше прошила будильник поштавить. Ешли апашдаю, меня ф пять минут уфолят.

— Обойдется.

Ариадна шумно сплевывает и отвечает, не выходя (рисует другой глаз):

— У меня через полчаса запись.

— Возьми денег на такси.

— Ой, спасибочки! — шумно налетает, тормошит, тискает. Потом отпускает, будто даже и нехотя. Складывает, уже не спеша, косметику в необъятную сумку, продолжая безостановочно трещать: — Сегодня не день, а сплошная запара. Ща окраска, потом химия. И когда они перестанут травить свои волосы? Знаешь, говорят, в Москве появилась какая-то новая технология: щадящая биозавивка. Скоро и до нас доберется, и тогда волосы… Ты меня не слушаешь?

— Угу.

— Что угу?

— Волосы.

— Вот я и говорю, волосы перестанут портиться, но тебе это неинтересно.

Да нет, отчего же. Это охренительно, супермегаинтересно. Как только чудеса биозавивки докатятся до Харькова, он побежит и сделает себе «мелкий бес».

— Что ты? Я внимательно слушаю.

— Потом после химии придет стричься Буянов.

— …

— Я говорю, Буянов стричься придет!

— Ну, подстриги его там как-то…

— Ты чего? — таращит глаза в недоумении.

— Чего?

— Не знаешь, кто такой Буянов?

— А кто?

— Он же Матвея играл в «Таинственных страстях».

«В каких еще «страстях»? Что еще за Буянов?»

— Ах, ну да. Прости, я запамятовал. Конечно, тот самый Буянов из «Страстей».

— Теперь понимаешь? Я буду стричь Буянова!

— Как же тебе повезло.

Иронии девушка не замечает, продолжает тараторить:

— Вечером уже потише. Кажется, мелирование.

Еще коррекция челки. Ах да, еще в обед, как всегда. Ты опять не слушаешь?

— Я весь внимание.

— Представляешь, каждый день одна деваха в два часа приходит на укладку. Я уже который день пообедать не могу нормально. Вообще!

Уставилась на него и ждет реакции. Ну что тут скажешь?!

— Офигеть! — он всплескивает руками и закатывает глаза, проставляя себе «отлично» за актерское мастерство.

— Причем клиентка эта странная такая, уже три недели здесь, и все одна да одна. Ни подруг, ни (Ариадна перешла на шепот) мужиков. — Последнее она произнесла с таким возмущением, как будто это вопиющее святотатство.

— Так-так… Очень захватывающе… — Константин отворачивается, чтобы скрыть искры неподдельной заинтересованности, которые, он был уверен, вспыхнули в его глазах.

— Так вот вопрос: зачем укладываться, если все вечера сидишь сиднем в своем номере?

— А с чего ты взяла, что она не выходит?

— Она мне сама сказала.

— Ну-ну! И ты поверила? — он разочарованно усмехнулся.

— Дурак ты! — беззлобно бросила Ариадна. — Я же парикмахер!

— И что?

— Зачем врать парикмахеру?

— А почему бы и нет?

— Запомни: женщина может солгать психоаналитику и даже (голос снова понизился до шепота) гинекологу, но парикмахеру или маникюрше — никогда! Если говорит клиентка, что проводит вечера в номере за компьютером, значит, так оно и есть!

— Может, у нее интернет-роман?

— Слушай! Я как-то не подумала. Наверняка! Чем еще можно заниматься столько времени перед экраном!

— Работать…

— Ой, я тебя умоляю, — весело просвистела девушка и выскочила за дверь. Через секунду просунула голову обратно: — Чуть не забыла! Я сегодня до семи. Будет желание, заходи. Гостиничный комплекс «Черномор».

Гостиничный комплекс «Черномор» производил впечатление. Еще в такси, глядя на современные пирамидальные строения из стекла и металла, утопающие в зелени и струях причудливых фонтанов, Константин почувствовал,

как забилось сердце. Женщину, позволяющую себе больше трех недель жить в этой роскоши, не должно волновать состояние его кошелька. Здесь пахло настоящим, захватывающим приключением с неизвестным концом.

Продемонстрировав портье кончик зажатой в кулаке купюры, он любезно попросил показать ему карточку постоялицы, что «сидит сейчас во-о-о-н в том кресле салона красоты». Информация не заставила себя ждать: Людмила Черняева, 28 лет, домашний адрес: Москва. «Ого! Москва! Тем лучше! Зачем москвичке харьковчанин?» Дата отъезда: 25 мая. Итак, они уезжают в один день, и на все про все у него осталась неделя. В прежние времена он бы запаниковал, что этого срока может не хватить, но теперь знал, что и семь дней — вполне достаточно для обольщения. Константин разместился в лобби-баре и стал терпеливо ждать. Минут через пятнадцать Людмила Черняева поднялась, тряхнула длинными светлыми волосами, распрощалась с Ариадной и вышла из салона. Девушка, ни на кого не глядя, направилась прямиком к лифтам. Шла она, погруженная в свои мысли, явно нисколько не заботясь о том, чтобы произвести впечатление. Константин задумчиво рассматривал объект и

чувствовал, как радость от удачно выбранной жертвы захватывает его все сильнее. Он позволил себе настолько увлечься эмоциями, что едва не упустил даму. Она уже нажала кнопку, когда он возник за ее спиной и изумленно воскликнул:

— Людмила?

Девушка обернулась, смерила его вопросительным взглядом, нахмурилась и достаточно резко произнесла:

— Простите?

— О… Это вы меня простите. — Константин расплылся в извиняющейся улыбке. — Вы так похожи на одну мою знакомую. Но только со спины. Оказывается, у вас такое же имя. Ну надо же! Но вы гораздо привлекательнее и…

Женщина брезгливо поморщилась, прервала его тираду коротким:

— Вы обознались, — и отвернулась.

— Да. Я, в общем-то, конечно. С кем не бывает… — Константин разыгрывал смущение перед напряженной, он чувствовал, спиной девушки. — Но, может быть, это не случайно. И нам стоит познакомиться…

Людмила не удосужилась обернуться. Она вошла в лифт и отчеканила зеркальному отражению Константина в кабине:

— Мое имя вы знаете, а ваше меня не интересует.

Двери захлопнулись, и мужчина не смог отказать себе в удовольствии радостно потереть руки. Его игра началась.

Котята, как он и предполагал, обнаружились в кустах на задворках ресторана. Везде, даже в самых фешенебельных местах, нет-нет да и найдется какая-нибудь приблудная тварь, осевшая на изобилующей просроченными деликатесами помойке. Вот и здесь несколько измазанных усатых мордочек лишь настороженно покосились на неизвестного и продолжили с сосредоточенным наслаждением копошиться в объедках. Нетерпеливое шевеление в зарослях выдавало ожидающий своей очереди молодняк. Константин молниеносно схватил самого худого заморыша, у которого не было сил отпрыгнуть от несущей опасность человеческой руки, и сунул добычу за пазуху.

— Не боись! Зуб даю, тебя сегодня покормят.

Через три минуты котенок выводил надсадные рулады у номера москвички Людмилы, внимая жалобным советам странного человека: «Погромче, кысынька! Старайся, пацан!» Еще через две дверь осторожно приоткрылась. Девушка взгля-

нула на котенка вполне миролюбиво, но, увидев мужчину, нахмурилась, заледенела:

— Что вы здесь делаете?

— Я или он? Или мы?

— Что делает он, я прекрасно вижу, точнее слышу: потерялся и орет. А вот ваше нахождение у моей двери остается совершенно непонятным.

— Да я, собственно, тоже потерялся. — Константин старался говорить как можно беспечнее, доказывая абсолютную случайность своего появления. — В вашей шикарной гостинице совершенно невозможно найти то, что ищешь, — он виновато улыбнулся и замолчал. Сейчас она спросит: «А что вы ищете?» — «Номер 4120, — ответит он, — друг здесь останавливался. Договорились, что на вокзал его провожу. Я жду-жду внизу, а его все нет. Решил подняться и заплутал». — «Вам надо на пятый этаж, а это четвертый», — смягчится она. — «Спасибо», — сердечно поблагодарит он и нажмет в кармане кнопку мобильного, чтобы тот издал какой-нибудь писк. Торопливо вытащит телефон, бросит в молчащую трубку несколько расстроенных фраз типа: «Да ты что? Неужели? Как жаль! Ну, может быть, как-нибудь в другой раз». Потом объяснит все еще рассматривающей котенка женщине, что друг вынужден был уехать

раньше и теперь у него образовалась целая куча свободного времени, которую он намерен потратить на спасение от голода несчастной крохи. Не хочет ли она присоединиться? Может, покараулит котенка, а он пока сбегает за молоком? Что? Она возьмет малыша к себе в номер? А удобно ли это? Никаких проблем? Ну, тогда отлично! Он постучится, когда вернется, он мигом. Ах, как она добра! Ах-ах-ах!

— Ищите где-нибудь в другом месте, — неожиданно надула губки Людмила, — и этого, — она легонько задела котенка носком белоснежного тапочка с меховым помпоном, — с собой заберите. У меня на них аллергия.

Константин остался за дверью с голодным котенком и нарастающим недоумением. «А она тебе вообще-то нужна? — спрашивает внутренний голос. — Наглая, жестокая баба!» — «Нет-нет-нет, — тут же одергивает он себя. — Только не проигрыш!»

Мужчина мучительно старался придумать хоть какой-то мало-мальски разумный повод постучаться в номер. Котенок начал мяукать.

— Да заткнись ты! — вяло отмахнулся Константин.

Котенок не унимается, скребется в дверь.

— Погоди-ка, — изумился мужчина. — Да ты, балбес, не дурак вовсе! Давай-давай! Продолжай! Громче! — Он на цыпочках отошел за угол, не переставая подбадривать котенка.

Еще несколько минут жалобных кошачьих причитаний, и раздосадованная Людмила впустила подкидыша. Быстрая пробежка до магазина позволила Константину окончательно вернуть уверенность в своих силах и в необходимости продолжать игру. Он смущенно улыбнулся стоящей на пороге хозяйке и нарочито растерянно пролепетал:

— Извините, ради бога! Я подумал… Может быть… Я вот колбасы, а котенок…

— Он здесь.

Котенок сосредоточенно копошился у кровати, выдергивая нити из шерстяного пледа.

— Забирайте и проваливайте. Мне некогда.

Женщина забралась в центр раскиданных по покрывалу стопок исписанных бумаг, положила на колени ноутбук и потеряла к гостю всякий интерес.

— Что-то пишете?

Молчание.

— Роман? Повесть?

Молчание.

— Первый раз вижу, чтобы девушки на юге с таким усердием занимались интеллектуальным трудом.

— Думаю, что девушки, которых вы имеете обыкновение видеть, не занимаются интеллектуальным трудом ни на юге, ни на севере, ни где-либо в другом месте.

«Ну, хватит! Это уж слишком! Что она себе позволяет? А сама-то. Подумаешь, блондинка с уложенной шевелюрой! Ноги могли бы быть подлиннее, сиськи побольше, а язык покороче. Тогда не пришлось бы сидеть одной в четырех стенах. Да пошла она…»

— Я переводчик, — девушка неожиданно оторвала взгляд от бумаг, посмотрела на мужчину вполне дружелюбно и пожаловалась, позволив себе вздохнуть: — Сроки поджимают.

Константин тут же смягчился, забыв о гневе, и устремился в атаку:

— Надо позволять себе отдыхать. Общаться с людьми. Мне кажется, это определенное обогащение словарного запаса. Полезно для переводчика.

— Переводчику вполне достаточно читать хорошую литературу. Лексикон современников в большинстве случаев весьма ограничен.

Выхода нет. Придется опускаться до примитивных уговоров.

— Людмила! Я уже три недели торчу на этом долб… доморощенном курорте и просто не знаю, куда девать себя от скуки. Разве я о многом прошу? Скрасьте всего лишь мой ужин на пару часов, и…

— Завтра в 19.00 внизу. Повеселимся, — она недвусмысленно распахнула дверь и, пресекая любые попытки рассыпаться в благодарности, сунула ему в руки котенка: — Выйдете из гостиницы со стороны бассейнов, пройдете по мосту через ручей, свернете налево, обогнете тренажерный зал и увидите арку во внутренний двор. Там помойка, где столуются два кота и три кошки. Это сын серой с белой грудкой, которую персонал зовет Анфисой. У нее еще пять котят, которых она держит в кустах справа от баков. Верните туда то, что взяли, и извинитесь перед матерью!

— При чем тут… — Константин невинно вскинул брови, но его бесцеремонно подтолкнули к выходу, за спиной щелкнул замок. — И с чего она только взяла? Как догадалась? И как теперь оценить свои действия? Это успех или провал? — обратился мужчина к отпрыску Анфисы. — Хотя разве можно назвать провалом пол-литра молока

и двести граммов ливерной?

Он в нерешительности остановился у кустов шиповника. Кошка скалит зубы, выгибается, готовясь защитить оставшееся потомство. Мужчина показал ей котенка, пытаясь успокоить. Анфиса сделала мощный прыжок, Константин еле успел спасти брюки и грубо заматерился, замахиваясь на животное.

— Вернуть часто бывает гораздо труднее, чем взять, — брезгливо сообщила ему Людмила из распахнутого окна четвертого этажа.

Грохнула захлопнутая рама.

— Сука! — процедил Константин, избавляясь наконец от котенка.

Вечером он позволил себе расслабиться: никакой охоты, никаких женщин. Легкий ужин, бокал вина и крепкий сон. Проснулся бодрым и отдохнувшим, но настроение тут же испортилось. Вечером необходимо продвинуться, произвести впечатление, а у него — никакого, даже самого захудалого плана.

Конечно, всегда есть запасной вариант, но использовать его ой как не хочется. Он и прибегал-то к нему всего два раза, но чувствовал себя потом абсолютным подонком, обещал себе остановиться и несколько месяцев даже верил в то,

что так и поступит. Но время… Время если не бесследно стирало из памяти ощущение содеянного гадства, то существенно обеляло Константина в собственных глазах. Наглое вранье казалось всего лишь невинной шуткой, горячие обещания — страстным бредом, а влюбленные женщины — наивными дурами, виноватыми во всем целиком и полностью, потому что нельзя, просто противопоказано существовать в современном мире таким открытым, доверчивым особам. А он, Константин, — просто подарок судьбы, посланный им свыше для усвоения жизненных уроков. Если бы он знал, что одна такая «дура» после занятий с учителем два года пролежала в психушке, а вторая в сентябре поведет в первый класс его сына, он бы, возможно, пересмотрел свои взгляды. Но это Господь всеведущ, а посланцы его не так всемогущи.

Константин провел день в унылых, пустых раздумьях. К назначенному времени пазл картины предстоящего свидания так и не сложился в его голове окончательно, хотя тактика все же была избрана. В ход он решил пустить обычное оружие — демонстрацию своей исключительности, однако способ необходимо избрать иной. Барышню, позволяющую себе четвертую неделю прятаться

в номере самого шикарного отеля, не поразишь ни водителем, ни дорогим рестораном, ни разговорами о мнимых контрактах. Она сомневается в его интеллекте. Что ж, она его получит. К 19.00 он мог бы провести экскурсию по Коктебелю с закрытыми глазами, рассказывая без запинки содержание двух путеводителей. Он отказался от пиджака и галстука, вместо дежурных роз приобрел у местных бабушек скромный «полевой» букетик, вызубрил несколько строк из Волошина и пару четверостиший Цветаевой и расположился в холле «Черномора», то и дело посматривая на лифт и повторяя, как аутотренинг:

— …Наступит свой черед, наступит свой черед. Траля-ля-ля. Как драгоценным винам…

Людмила разговаривала по телефону, когда подошла к его креслу, когда они вышли на улицу, пока ехали в такси мимо дюжины достопримечательностей, информацию о которых он готов был обрушить на женщину, усомнившуюся в его эрудиции. Отвернувшись и барабаня длинными ногтями по стеклу, она беспрестанно повторяла невидимому собеседнику одни и те же вопросы: «Да ну? А ты что? А он? Правда? А ты что? Да ну? А он?» В ресторане, прикрыв трубку ладошкой, скороговоркой пробормотала официанту заказ и

продолжила «дакать» и «нукать» с таким видом, будто ничего важнее этого диалога в жизни не существовало.

Константин старался ничем не выдать своего бешенства. Миловидная женщина пригласила его танцевать, но он лишь вяло отмахнулся, даже не взглянув на нее и продолжая свербить глазами свою так неожиданно болтливую спутницу. Людмила закончила разговор, когда официант подносил им десерт.

— Валерий, — требовательно обратилась она к молодому человеку, всмотревшись в бейджик на белоснежной сорочке, — вы проводите вечер в ресторане, звучит приятная мелодия, дама ангажирует вас на танец. Что вы делаете?

— Танцую.

— Молодец! Душка! А вас что, не учили хорошим манерам? — повернулась она к Константину.

— А вас? — не выдержал он.

— Конечно, нет, — не думая и секунды. — В мои планы никогда не входило ухаживать за женщинами и проявлять свои лучшие качества.

— Значит, по-вашему, ухаживать за вами и при этом танцевать с другой — это проявление лучших качеств?

— А вы за мной ухаживаете?

— Пытаюсь, — буркнул Константин и, не утруждая себя в дальнейшей любезности, жестом попросил у официанта счет.

Всю дорогу до гостиницы он молчал, забыв о намерении развлекать Людмилу умными разговорами. Весь сегодняшний опыт доказывал, что пора прекратить попытки сблизиться с этой женщиной. Она ему не по зубам, и точка. Он ей не интересен. Как это не интересен? Почему не интересен? Всем, выходит, интересен, а ей нет? Ну уж дудки. Это мы еще посмотрим, краля московская, кто кого.

— Пойдешь со мной завтра на море? — чуть грубовато спросил он у дверей «Черномора», небрежно переходя на «ты» и не делая ни малейшей попытки проводить девушку до номера.

— С тобой хоть на край света, — неожиданно заявила она, отвернувшись, чтобы не выдать секундную растерянность.

Следующий день сложился гораздо удачнее и намного привычнее для Константина: пляж, солнце, разговоры на интересующие даму темы. Зря он волновался. Цитировать Волошина не пришлось. Легкость бытия не обошла стороной и эту претендующую на заумность блондинку: весна в Париже, модные нынче бикини и цены на гази-

ровку в баре гостиницы. Из всей этой невинной болтовни мужчина успел почерпнуть кое-какую полезную информацию: объект одинок, бездетен, любим и опекаем богатыми родителями.

После катания на банане, легкого обеденного салата и пятичасового мороженого Константин отправился в свой отель переодеваться к вечернему моциону в театр. Москвичи штурмуют шезлонги на первой линии моря, а население курортных городов — места в партере на гастролях столичных трупп. Константин приобрел с утра два билета и очень надеялся, что удовольствие, полученное Людмилой от просмотра какого-то нашумевшего в Москве спектакля, воздастся ему сполна. Он был почти счастлив, если бы не одно «но». За весь день девушка так и не задала ему ни одного личного вопроса. Либо она поразительно, невообразимо нелюбопытна для женщины, либо являет собой воплощение культуры, хотя вчерашний день полностью исключил это предположение, либо, что, к сожалению, очевиднее всего, его персона ее пока нимало не интересует. А время, время работало против него. Оставались жалкие четыре дня. Ладно, посмотрим, куда он продвинется сегодня. Она хотела пищи для ума? Что ж, пожалуйста: удачно получилось с

билетами.

Лучше бы он их никогда не покупал! В гробу он видал всю эту сентиментальную интеллигенцию. Нет, он, конечно, привык, что женщины плачут по поводу и без. Причем поводом может послужить все, что угодно: от противного прыща на носу до смерти бабушки главного героя в индийском фильме. Но то, что девушка способна залиться слезами из-за того, что кто-то решил избавиться от гектара ненужной, очевидно отжившей свое растительности, — этого Константин представить не мог. «Берите! Классика. Чехов». Послал бы он сейчас куда подальше и кассиршу с ее Чеховым, и самого Чехова с его садом.

«Ах, как вы угадали? О, это мой любимый писатель! Его лучшая пьеса! Какая драма, какая проникновенная мысль, какая сила искусства. Эти приглушенные удары топора. Я всякий раз плачу». И она действительно плакала, не отказывая себе в удовольствии от души всхлипнуть и громогласно высморкаться так, что на них оборачивались и шикали со всех сторон. Людмила ничего вокруг не замечала, отрывая от сцены покрасневшие глаза лишь для того, чтобы размазать по щекам остатки туши. А Константин ежесекундно извинялся, ловя осуждающие взгля-

ды. Ловил он их и на улице, и ему казалось, что каждый встречный ненавидит его за то, что он — мерзавец и негодяй — довел девушку до такого состояния. Хотя на самом деле довел он ее снова только до гостиницы и убрался восвояси, ни капли не сожалея, что его не пригласили и дальше выслушивать скорбные стенания о безвозвратно потерянном прошлом Раневской, которая к тому же оказалась тезкой его пассии, а это, по словам Людмилы, еще больше роднило ее с героиней и побуждало сочувствовать ей, несмотря на все очевидные недостатки «этой никчемной, в сущности, женщины».

О боже! И с чего только бабы решили, что их повышенная чувствительность и ранимость — это именно те качества, что привлекают мужчин? Почему слабость — это обязательно слезы и сопли? Милые дамы, ничто не вызывает у мужчины большего желания бежать от вас со всех ног, чем непрекращающиеся рыдания в три ручья. И дело вовсе не в том, что вы из волооких принцесс превращаетесь в узкоглазых, опухших, уродливых теток, а в том, что мужчина ощущает на себе груз непомерной вины за то, что с вами происходит, и жаждет сбросить его как можно скорее. Он ищет выход и находит самый простой и совершенно

очевидный. Он уйдет, а с ним уйдут и все ваши проблемы. И вы — его драгоценная, обожаемая и любимая — наконец-то перестанете плакать. Константин был разъярен, подавлен и одновременно счастлив оттого, что может позволить себе отступить. Дамочка оказалась совершенно неуравновешенной. Такая вполне может иметь склонность к суициду. Что же, ему потом мучиться, ночами не спать: жива или в окно сиганула? Тоже мне, Анна Каренина!

В своей решимости Константин спал как убитый. Но утро встретило его сомнениями. Оставалось три дня, делать совершенно нечего, а в дневник за весь отпуск он не занес ни одного имени, которое стоило бы запомнить. Он вышел из гостиницы и, сам того не замечая, побрел к «Черномору». Опомнился у входа. «Что ж, была не была». Поднялся, постучал в номер. Открыла. Сама любезность. Головку склонила, глазки потупила, извините, мол, за вчерашнее.

— Константин, я надеюсь, вы простите мою впечатлительность.

«Ох, и действительно извинения. Ну, стоило и хотя бы за этим прийти».

— Ну что вы! О чем вы говорите.

— Нет, право, я была ужасна.

— Вовсе нет!

— И, честно говоря, не думала, что увижу вас снова.

— Как вы могли подумать такое!

— Да нет, будь я на вашем месте, я бы обязательно…

— Да отчего же!

— Нет, несомненно…

— Да прекратите, наконец!

— Я просто неисправима!

— Вот тут вы правы!

— А может, на «ты»?

— Ах да, мы уже давно перешли. А может, кофе или сок?

— Или сок.

Нет, все-таки с театром удачно получилось. Чувство вины — огромнейшая движущая сила. До поры до времени, конечно. Но пока человек собирается сглаживать образовавшиеся в отношениях с вами острые углы, вы — хозяин положения. Людмила (хотя мысленно он уже называл ее Людочкой) старалась изо всех сил заслужить прощение: ни грубости, ни жеманства, ни высокомерия. Проста в одежде (белые льняные бермуды, желтый хлопковый топ) и легка в общении: непринужденный смех, не слишком

подробный, но все же рассказ о работе: переводит какой-то французский любовный роман для второсортного издательства не из-за заработка, а языковой практики ради. О семье особо не распространялась, лишь упомянула вскользь о том, что в офисе отца у нее один сплошной английский, да болтать на нем приходится лишь о вагонах, контейнерах и партиях цветных металлов. После этого, правда, Константин снова спросил себя, не стоит ли притормозить от греха подальше, пока железный король не нашел его и не переплавил во что-нибудь менее ценное, но сидящая напротив добыча улыбалась так покорно, что интуиции было предложено заткнуться и как можно скорее.

После сока он предложил перейти к более крепким напиткам и, на свой страх и риск, съездить на экскурсию с дегустацией вин:

— Крымские вина — они, знаешь ли… — и тут, кстати, вспомнил: — Как же там у Цветаевой?

— Драгоценные?

«Уф, не зря учил!»

— Точно. Ты тоже помнишь это? Я еще Волошина обожаю…

Да, с театром он определенно не промахнулся. В такси, когда утомленная просветительскими

речами и бессчетными стаканами полусладкого и полусухого девушка прикорнула на его плече, Константин поспешил поздравить себя с победой, и правильно сделал. У отеля последовало приглашение в номер. Вот и славненько. Три дня по нынешним временам — это уже очень достойно, это тебе не три часа — поулыбалась, поломалась, отдалась. Здесь ключик надо было подбирать да маслицем этот ключик смазывать.

— Проходи, — Людочка распахивает дверь, Константин галантно пропускает.

Нет, зря он сомневался. Зад фактурный. Отличный зад. Сиськи, правда, не его размера. Но опять же, если сзади…

— Вот с этого места, пожалуйста, — Людмила протянула ему книгу, указывая аккуратным пальчиком на абзац в центре страницы.

— Что?

— Ты разве не понял? Диктуй с этого места.

— Зачем?

— О господи! — Людмила раздраженно кинула книгу на кровать. — Я же тебе в лифте сказала: мне нужно занести кое-что в компьютер. Сейчас придет издатель. У меня не готовы материалы. Я тебя помочь прошу! А ты!

«Издатель… Какой издатель? Сейчас придет? А

как же? Черт! Опять он все прослушал!»

— Что диктовать-то?

— Вот этот абзац.

— «Истероидный тип личности…» Что это за фигня?

— Не отвлекайся, пожалуйста!

— Извини. «…Формируется, как правило, из-за частых стрессовых ситуаций в семье, в результате резкой смены настроения у одного или обоих родителей…» Зачем тебе это надо?

— Так. Для перевода.

Константин надиктовывает «чухню» битых двадцать минут.

— Все. Дальше не надо. Спасибо. А теперь извини. Надо как-то в себя прийти. Я непозволительно много выпила, а ко мне сейчас придут.

— Издатель? — он не может скрыть раздражения.

— Ага. Важная деловая встреча. — Как ни в чем не бывало, но ему кажется, что она издевается.

Делать нечего. Приходится отступать. «Издатель к ней придет. Как же! Ариадна, блин, самомнения не занимать: «Парикмахерам не врут, парикмахерам не врут! Нашлись тут душеприказчики! Цирюльники — они и есть цирюльники! Ладно, посмотрим, что за птица

залетит в это гнездышко».

Мужчина занял выжидательную позицию в холле этажа. Время послеобеденное, отель словно вымер: ни скрипучих тележек горничных, ни шума воды в ванных комнатах, ни движения лифтов. Минут через пятнадцать механизм одного оживает. Востроносенькая, миниатюрная, довольно молодая женщина волочит за руку такую же востроносенькую девочку лет десяти с ободранными коленками и хлюпающим носом.

— Быстрей же, Лара! Опаздываем.

Они робко стучат в номер Людмилы.

«Это что еще за цирк? Издатель тащит на переговоры ребенка? Бред какой-то».

Константин приложил ухо к двери. «Эх, раньше проблем с информацией не возникало. Замочные скважины были широкие. И услышишь все, что надо. И увидишь, что не надо. А теперь, кроме щели для пластиковой карты, никакого просвета! И как тут разобраться, что к чему?!»

Из-за двери доносился монотонный, перемежающийся всхлипыванием монолог старшей гостьи. Слов не разобрать. Людмила изредка вставляла короткие фразы, их удавалось различить:

— Так. Очень хорошо. Да? А она? Правда? Да

ну? А ты что сказала (это, видимо, к девочке)? А потом? Да ну? Продолжай. Замечательно.

Действительно, замечательно. Лучше не придумаешь! Избавиться от него, сославшись на встречу с издателем, чтобы посочувствовать проблемам подружки, — это просто великолепно!

Константин спустился в бар и два часа караулил у телефона, когда «публикаторы» уберутся восвояси. Фронт работ свободен, и он набрал номер Людмилы:

— Еще совсем не поздно. Я подумал, может быть, вечером…

— Я хочу спать! — Она бросила трубку. Ни здрасте, ни до свидания! Зараза!

Все. Он испробовал все методы. Ну или практически все. Если бы позволяло время, он бы с удовольствием прибегнул к беспроигрышному игнорированию. «Чем меньше женщину мы любим…» Пушкина можно признать гением из-за одной этой фразы, которую Константин не раз проверял на деле. Вот ухаживаешь ты, ухаживаешь: и цветочки носишь, и в ресторанах кормишь, и ручки-ножки гладишь, а она ни в какую. Ничего страшного. Пропади на несколько дней и появись как ни в чем не бывало. И все. Она уже другая: и смотрит заинтересованно, и

прижаться норовит, и упустить тебя боится. Эх, ему бы еще дня два-три, и она бы сама приползла. Но времени нет. Придется брать быка за рога. Конечно, к последнему способу прибегать не хочется. Уже два раза срывался и мучился потом. Ладно, чего уж там. Бог троицу любит.

Костюм, галстук, букет, шампанское, конфеты (пускай жрет!) — жених.

— Выходи за меня!

Заспанные круглые глаза Людмилы мгновенно превратились в злые, колючие щелочки.

— Позарился на папочкины денежки? А я все придумала, идиот! Нет у меня никаких богатеньких родителей, и цветными металлами я не торгую.

«Ну да! Ну да! Уж не на гонорары ли от переводов вы здесь проживаете? Действительно за идиота держит. Эх, встреться мы лет пятнадцать назад, я бы весьма заинтересовался твоим батей. А теперь, сама — идиотка, он меня совершенно не… как говорится».

— И слава богу! Не думаю, что такие родители позволили бы нам быть вместе.

Глаза приобрели нормальные размеры, но искорки недоверия все еще нет-нет да и вспыхивают.

— Ты серьезно, что ли, я не пойму?

— Серьезнее не бывает.

Все случилось. Он победил. Он ликовал. Он торжествовал. Цель все же, без сомнения, оправдывает средства.

Они стоят на перроне. Московский поезд тронется через десять минут. Мила тихонько всхлипывает, уткнувшись в шею Константина. Он дышит цветочным ароматом шампуня и думает, что максимум через полчаса из его памяти начнет стираться не только запах, но даже оттенок волос этой женщины.

— Ты ведь скоро приедешь?

— Да, дорогая!

— Как только закончишь дела?

— Да. Мы же договорились, помнишь? Мы ведь женимся.

— Ты только звони, ладно?

— Конечно, я же записал номер.

— И я тебе буду звонить.

— Звони хоть каждый день, милая. У тебя же все есть: и телефон, и адрес.

«Так что давай-давай. Звони, приезжай, даже пиши, если хочешь, «на деревню дедушке».

— Мне пора.

Последние суетливые объятия, скомканный

поцелуй, окрик с подножки:

— Звони скорее!

— Буду звонить каждый час.

Константин подождал, пока поезд отползет достаточно далеко. На платформу Людмила не спрыгнула, стоп-кран не дернула, хотя он жутко боялся, что она сделает это. Уж слишком бурной оказалась лавина ее чувств. Странно, что такая эмоциональная дамочка — в постели просто вяленая рыба какая-то. Как ни старался расшевелить, так и не сумел. Так что пусть катит в свою Москву к папочке-олигарху, не жалко.

Мужчина спустился на привокзальную площадь и зашел в дверь с вывеской «Куплю б/у телефоны», предварительно вынув и выкинув в урну сим-карту. Можно, конечно, поискать ту девочку, с которой познакомился в первый вечер и на которую зарегистрировал номер, сделать ей подарок. Ладно, обойдется. Он и так провел с ней от нечего делать целых три дня.

— Спасибо. Возвращаю, — Константин протянул трубку парнишке-продавцу.

— Да не за что. Пригодился?

— А то! Спасибо за помощь!

— Отчего не помочь хорошему человеку.

Родной мобильный требовательно запищал в

джинсовом кармане.

— Да? — мужчина по давней привычке втянул голову в плечи, будто его застукали на месте преступления.

— Ты в аэропорту? — требовательно спросила жена.

— Уже еду, дорогая.

— Смотри, не опоздай на самолет!

— Лечу!

И Константин действительно вылетел к стоянке такси и помчался в аэропорт. Злить жену не хотелось. Она ревнива и мстительна. Стоит ей что-то заподозрить, и он в ту же секунду вылетит из семейного гнездышка. Они женаты семнадцать лет. Он — актер харьковского драматического театра, вечно на вторых ролях во втором составе. И она — наследница фабрик, заводов, журналов и пароходов. Всю семейную жизнь он обязан оправдывать одобренный ее родителями мезальянс, потому жизнь эта состояла из бесконечных отчетов о том, где был и когда пришел. Все это его, впрочем, устраивало. Особенно после того, как найденный через театральных знакомых чудо-врач в присутствии жены диагностировал у него вегетососудистую дистонию и предписал врачевать ее исключительно май-

ским крымским воздухом ежегодно и не менее месяца. Дети в мае еще ходили в детский сад, теперь учились в школе, жена смотрела за ними, а Константин усердно лечился. Возвращался всегда бодрым и отдохнувшим. Так было всегда, так будет и сейчас. Он спешил на такси в аэропорт и улыбался.

Плакала Людмила недолго. Лук, который украдкой подносила к глазам, выкинула еще до того, как проводник закрыл вагон. Дождалась, когда открыли туалет, поправила макияж, зашла в купе. Накрасилась не зря: в попутчиках молодая дама и двое мужчин чуть за сорок. Вечер обещал быть интересным. И действительно: много смеялись, болтали о пустяках, играли в буриме и ближе к ночи даже выпили коньячку, но расслабиться и уснуть все равно не получилось. Женщина все-таки нервничала. Нет, звонка она не ждала. Да и куда бы он мог позвонить, если, называя номер, Людмила «ошиблась» в трех цифрах. К тому же она доверяла своей интуиции. И все же, все же промучилась всю ночь, спрашивая себя снова и снова: «А что, если я не права?» В конце концов, шестое чувство может подвести каждого, даже такого опытного игрока, как она. Ведь она была уверена, что он сбежит из рестора-

на, а если не из ресторана, то из театра, ну а уж если не из театра, то после визита «издателя» — наверняка. Она дала ему шанс, и не один, но он не воспользовался ни первым, ни вторым и ни третьим. А значит, либо это действительно ценный экземпляр, который заслуженно заплатит за полученное удовольствие, либо, что гораздо хуже, он действительно проникся к Людмиле неподдельными чувствами, и тогда уже ей самой придется платить по счетам.

К утру женщина поняла, что не сможет побороть искушения выяснить правду немедленно. Быстро набрала цифры, прослушала механическое сообщение: «Номер в сети не зарегистрирован» — и с облегчением рассмеялась. Все еще сжимая в руке мобильный, она вышла в тамбур. Вереницей проносились деревья, избы, полустанки. Такой же нескончаемой, не оставляющей и следа в памяти вереницей проносились, видимо, и женщины в жизни Константина. «Вот так: посадил в поезд, поцеловал, сменил сим-карту и забыл навсегда. Что ж, губная помада и лифчик помогут тебе вспомнить меня, когда жена найдет их на дне твоего чемодана. А если будешь недоумевать, откуда все это взялось? Не беда. Мое имя в твоем дневнике (ну и глупость держать его в

тумбочке и даже не прятать!), которое я жирно обвела прошлой ночью красным фломастером, быстренько освежит твою память». Поезд снизил скорость. «Да, придется тебе, дружок, притормозить». Телефон защекотал ладонь.

— Да? Как все прошло? Да ну? А он? Правда? А ты что? А он? А ты? Правильно! А он? — она долго слушала, нахмурив брови. — Это естественно. Обычное поведение человека, погруженного в личностный кризис. Что? Помочь — вряд ли. Ты просто не мешай. Он разберется. Этого я не знаю. Может, через месяц, а может, и через год. Что? Конечно, звони. Какие благодарности? Это же моя работа.

— Как съездили, Людмила Петровна? — Водитель мужа легко подхватил чемоданы и засеменил по перрону, то и дело оборачиваясь и по-собачьи преданно заглядывая в глаза. Годился он Людмиле Петровне в отцы, и деланое подобострастие его казалось особенно жалким. — «Сам»-то приехать не смог, — сочувственно добавил он, отводя глаза в сторону, и понимающе вздохнул: — Дела…

Она неопределенно пожала плечами. Все как всегда. Дела банкира, баллотирующегося в губернаторы, не имели к ней ни малейшего отноше-

ния. Таких людей, вечно занятых изготовлением денег из воздуха, именовали трудоголиками. В ее градации приматов он давно уже прочно занимал место в графе «равнодушные». Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и у нее его подвиги и свершения давно уже не вызывали каких-либо эмоций. Она не пыталась переделать его распорядок дня, он не запоминал ее планов. Ее не волновал индекс Доу-Джонса, на него навевали сон идеи бихевиаризма. Его окружали нормальные, здоровые люди, увлеченные карьерным ростом и нацеленные на результат. Ее — они же — несчастные и больные, зацикленные на годовых бонусах, освободившихся портфелях и собственных комплексах. Перед ним они сидели в креслах в отутюженных костюмах, сверкая западными белоснежными улыбками, перед ней так же по-западному лежали на кушетке, ослабив тугой узел на галстуке. Он не интересовался личностью, она выскабливала интимность. Он подчинялся указам ЦБ, она писала диссертацию на кафедре ЦКБ. У него были две постоянные любовницы для поддержания тонуса, у нее — случайные связи, именуемые сбором материала. Она готовила ему кофе по утрам, он приносил ей заказанные секретаршей цветы. Счастливая семья.

— Отдохнули-то, говорю, хорошо? — повторил свой вопрос шофер, услужливо распахивая перед ней дверь автомобиля.

Дипломированный психолог задержала взгляд на рекламном щите в центре привокзальной площади. Известная певица приглашала москвичей и гостей столицы в магазин одежды. «Новые коллекции…» — прочитала она и улыбнулась. Теперь она знала, как назовет новый тип курортника в своей научной работе. Людмила нырнула в недра пахнущей достатком машины и уже оттуда лениво промурлыкала:

— Скукотища…

Татьяна Корсакова
Бабочка

Первый десяток овец перемахнул через полуметровую стену играючи, точно табун арабских скакунов. Второй и третий сбавили темп, но с заданием справились. Проблемы начались с сорок пятой овцы. Она в нерешительности мялась у преграды, принюхивалась, присматривалась, жалобно блеяла и оглядывалась на Егорова в надежде, что он, жестокосердный, отменит задание.

— Давай, прыгай, — проворчал Егоров сердито. — Мне тяжело, а ты чем лучше?

Кто же мог подумать, что спровоцировать овечий бунт так просто? Одно неосторожное слово — и гениальный план дал трещину, вместо стройных рядов марширующих овечек перед внутренним взором предстало бестолковое стадо — попробуй пересчитай…

И вообще, кто сказал, что подсчет овец спасает от бессонницы?! От бессонницы спасает пара бокалов хорошего вина или, на худой конец, стопка водки, а овцы… Овцы, даже виртуальные, всего

лишь наивные, ленивые зверушки, и в качестве снотворного они никак не годятся.

Надо попробовать охоту. Не тупо наблюдать за копытными, а деятельно отстреливать, ну, скажем, рябчиков или летучих мышей. Да, лучше летучих мышей — этих крылатых тварей Егоров особенно не любил.

Решено, сначала перекур, а потом еще одна попытка задобрить Морфея.

Егоров сел в кровати. Эх, хорошо, что болеет он не как обычные смертные, а по блату — в отдельной люксовой палате. Никаких тебе назойливых соседей, никаких соглядатаев. И можно выйти тихонько на персональный балкон и, наплевав на больничный режим, покурить.

Сигареты контрабандой принес сегодня утром друг Пашка, воровато оглядываясь на хорошенькую медсестричку, сунул пачку Егорову в карман — конспиратор. А потом еще полчаса ныл, что курение вредит здоровью и что Минздрав не просто так предупреждает. Пришлось объяснить товарищу, что загнется он скорее от бессонницы и безделья, чем от никотина.

Егоров лежал в этой частной клинике уже почти неделю, и если с бездельем хоть как-то помогали мириться книги — тоже, между про-

чим, контрабандные, — то с бессонницей была настоящая беда.

А всему виной авария и, как следствие, черепно-мозговая травма, не так чтобы очень серьезная — легкий обморок, головная боль, тошнота, — но порушившая в одночасье все его планы на отпуск. В кои-то веки вырвался на охоту, и нате вам — джип всмятку, голова чудом не всмятку. А еще бессонница…

Егоров вышел на балкон, облокотился о перила, закурил. Ночью можно было курить, особо не таясь, курить и смотреть на Большую Медведицу, необычайно яркую и даже в чем-то загадочную, и убеждать себя, что после перекура сон непременно придет. А еще ночью рождались стихотворения, измученные бессонницей и от этого особенно пронзительные и искренние…

Он улыбался мыслям несуразным,
Смотря в заиндевелое окно,
И допивал крепленое вино,
Окрашивая скатерть ярко-красным.
Душа еще сопротивлялась сну,
В глазах еще не гасло пламя свеч, но
Зима, приникнув к черному окну,

Морозной кистью выводила: «в-е-ч-н-о»...[1]

О том, что Егоров, зануда, циник и эгоист до кончиков ногтей, сочиняет вирши, не знал никто, даже лучший друг Пашка. Эту сторону своей жизни он оберегал особенно рьяно, даже более рьяно, чем право на одиночество...

Все, в сторону лирику, пора переходить к практике. Егоров вернулся в палату, улегся на кровать, закрыл глаза.

Загнав всех своих овец в аккуратный загончик и накормив свежескошенной травой, он зарядил виртуальную винтовку и принялся выискивать на виртуальном небосводе крылатых тварей. На сей раз фантазия подвела: рябчиков — сколько хочешь, а летучей мыши ни одной. Егоров присматривался и так и этак и даже винтовку поменял на дробовик, как в «Думе», а толку — чуть. Вот она — непруха...

От виртуальных страданий его отвлекло деликатное покашливание. Егоров открыл глаза и тут же их снова зажмурил — вслед за бессонницей в его безмятежную обывательскую жизнь прокрал-

---

[1] Примечания: 1

Здесь и далее в рассказе использованы фрагменты стихотворения А. Ерошина.

ся глюк. Глюк выглядел как гигантская летучая мышь, болтался на шторах, таращил черные глаза-пуговицы и тоскливо вздыхал.

— Привет! — лишь усилием воли Егоров удержался от желания вскинуть дробовик и разрядить в глюк всю обойму.

— Привет. — Мышь-переросток снова вздохнула, втянула носом воздух, спросила с завистью: — Курил?

— Курил, а что?

— Я бы тоже…

— Ну, так за чем дело стало? Угощайся! — Он кивнул на початую пачку.

— Спасибо. Мне нельзя, у меня режим.

— Так и у меня режим.

— Ты — другое дело, ты настоящий.

— А ты?

— Я? — Гостья задумалась. — Я не знаю. Скучно тут, — сказала без перехода.

— Где?

— Тут, где я.

— А ты разве не там же, где и я?

— Я где-то на границе. Ты первый настоящий.

— А, ну тогда понятно.

Интересный у них получался разговор, очень содержательный. Надо будет завтра попроситься

на консультацию к психиатру, а то мало ли что, вдруг это серьезно.

— И поговорить не с кем, — продолжала печалиться гостья. — Никто меня не слышит.

— Я слышу.

— Ты первый и единственный.

О как! Он — первый и единственный. Очень романтично.

— Ну, так со мной и поговори.

— Можно? — Летучая мышь обрадовалась, взмахнула кожистыми крыльями. — Не шутишь?

Егоров снова закрыл глаза, процитировал себя раннего:

Давай о чём-нибудь поговорим…
Об импрессионизме,
О погоде…
О том, что постоянства
Нет в природе,
В чём убеждают нас
Календари…

…И тут же испугался. Что это на него нашло? Незнакомой летучей мыши доверяет самое сокровенное…

А ей понравилось, Егоров как-то сразу понял, что понравилось: по влажному блеску черных глаз, по трепетанию крыльев, а еще по тому, как она смущенно сказала:

— Еще хочу. Можно?

И он, циник, зануда и эгоист до кончиков ногтей, расплылся в смущенной улыбке и сказал:

— Конечно, можно.

Время пролетело незаметно. Может, из-за стихов, а может, из-за того, что собеседница ему досталась очень хорошая, молчаливая и внимательная.

…Он проснулся от ласкового похлопывания по плечу.

— Егоров, подъем! — Дежурная медсестра улыбалась дежурной улыбкой и под шумок пыталась пристроить ему под мышку градусник. — А говорили — бессонница.

«А ведь получилось, — пронеслось в голове, — за виршами и монологами не заметил, как уснул».

— Сегодня прямо с утра на анализы. — Медсестра пристроила-таки градусник, строго нахмурилась. — И чтобы непременно, а не так, как в прошлый раз.

В прошлый раз Егоров до лаборатории не до-

шел, посчитал, что кровушки у него попили и без того предостаточно.

— Я прослежу. — Медсестра погрозила пальчиком.

И вправду ведь проследит, работа у нее такая — собачья.

Идти по гулкому коридору было неприятно. Ощущение такое, словно ты не в больнице, а в комфортабельной тюрьме. За стеклянными дверями — камеры-одиночки, все внутренности на виду. Сам Егоров долго воевал, чтобы ему дали нормальную палату, с нормальными дверями, а то лежал бы сейчас как на витрине. Вот, к примеру, как эта дамочка из тринадцатой. У дамочки тоже что-то с головой, только посерьезнее, чем у него. Медсестричка назвала эту беду веско и неумолимо — кома. В общем, не повезло человеку.

Четыре дня Егоров проходил мимо тринадцатой палаты, не особо задумываясь над судьбой ее обитательницы, а сегодня вот задумался, даже к прозрачной двери подошел и носом к стеклу прижался, чтобы было лучше видно.

Дамочка оказалась совсем молоденькой, Егоров тут же переименовал ее в девочку. Черный ежик волос, лицо безмятежное, руки тонкие с синими

прожилками вен — с виду ничего коматозно-фатального.

— Егоров! — послышался за спиной грозный оклик все той же бдительной медсестры.

— Давно она так? — спросил он, отклеиваясь от стекла и протирая его рукавом рубахи.

— Уже месяц. Шансы никакие, но сердце крепкое. На следующей неделе родственники домой заберут.

— Да, плохо, что шансы никакие. А может, поправится?

Медсестра посмотрела так, что сразу стало ясно — не поправится…

Ночи Егоров ждал с нетерпением, гадал: придет — не придет, даже вирш новый сочинил, лирический.

Она пришла. И следующей ночью тоже. И еще три ночи подряд. И разговаривать с ней было одно удовольствие — даром что летучая мышь.

А на седьмую ночь Егоров опростоволосился, повел себя совсем не по-джентльменски.

Гостья уже освоилась окончательно, взахлеб рассказывала про трудности разведения в неволе уссурийского тигра и увлеченно размахивала крыльями.

— Осторожнее, — сказал Егоров, — не порви

шторы.

— Чем? — удивилась она.

— Когтями.

— Какими когтями?..

— Обыкновенными. Ты же летучая мышь, у тебя должны быть когти.

— Я летучая мышь?..

— Ну да! А ты что, не в курсе?

Она была не в курсе. Хуже того, она обиделась.

— Значит, вот как ты меня себе представляешь — летучей мышью…

— А ты не такая? — спросил Егоров осторожно.

— Я думала, что я бабочка. — Она всхлипнула совсем по-женски.

— Какая бабочка?

— Да хоть какая! Лишь бы бабочка…

Утром Егоров проснулся с больной головой и чувством вины, и весь день маялся и тосковал, и даже не стал ждать отбоя — завалился спать в восемь вечера, чтобы встретиться с ней побыстрее и извиниться за вчерашнее.

…А она не пришла. Обиделась. Бабочки такие обидчивые…

Опять анализы. Он ненавидел анализы лютой ненавистью. Он бы уже давным-давно выписался, если бы не летучая мышка, думающая, что

она бабочка.

В палате номер тринадцать не было медсестры, только девочка-пациентка. Егоров толкнул стеклянную дверь, подошел к кровати, пристроился рядом с мудреной аппаратурой, посмотрел на девочку. Она тоже не там и не здесь, она на границе, как его летучая мышка…

— Ну, привет. — Он погладил девочку сначала по волосам, а потом по щеке — осторожно, одним пальцем — и уже хотел сказать, что был дураком, что ждет не дождется, когда она его простит и снова придет в гости, но примчалась медсестра и закричала что-то про злостное нарушение режима и принялась выталкивать его из палаты.

Егоров заметил это в самый последний момент — карандашный набросок бабочки на прикроватной тумбочке, еще одно доказательство…

— Это ее? — спросил шепотом.

— Мать принесла, сказала, что девочка училась на биофаке, любила бабочек. — Медсестра нахмурилась, добавила строго: — Ну, идите вы уже, пока врач не заметил.

— Почему любила? — спросил он зло. — Она и сейчас их любит!

Что-то такое неправильное случилось с его сердцем. Вроде бы в аварии пострадала голова,

а болит и трепыхается именно сердце. Он даже знает, из-за кого — из-за девчонки из тринадцатой палаты, которая не там и не здесь…

Нет, все-таки женщины — непостижимые существа. Вот ему бы было совершенно все равно, в каком виде болтаться на границе между мирами, да хоть в облике звероящера. А эти обижаются из-за пустяка…

Друг Пашка не подвел. Друг Пашка был знатным контрабандистом, а еще он мог достать луну с неба. Егорову не нужна была луна, ему нужны были бабочки. И плевать, что на дворе конец зимы. У него на сердце тоже, между прочим, зима.

В тринадцатой палате сменилась медсестра. Эту Егоров знал и даже пару раз подкармливал шоколадками. Эта была доброй и отзывчивой и согласилась выйти из палаты на десять минут по «неотложным делам».

Бабочки — аж пятьдесят тропических красавиц — долго не хотели вылетать из обувной коробки. Егорову даже пришлось врезать по ней кулаком. Помогло — разноцветная крылатая братия разлетелась по палате, облепила мудреную аппаратуру, разукрасила диковинным узором скучные больничные простыни. Особо отважные пристроились в девочкиных волосах.

— Ну вот, — сказал Егоров смущенно. — Видишь — бабочки!

Она не видела, но мудреная аппаратура зашумела как-то по-особенному многообещающе. Эх, была не была! Как там принято обращаться со спящим красавицами?..

Поцелуй получился не так чтобы очень эффектным — в щеку. Куда ему до сказочных принцев! Но идея, несмотря на некоторую затасканность, была хороша и даже не лишена изящества.

«Если проснется, приглашу в ресторан, — подумал Егоров, — а если не проснется, притащу ей пару сотен бабочек, чтобы уж наверняка».

Он упустил момент, когда это случилось. Руки вдруг коснулось что-то мягкое и теплое, и голос, тот самый, из снов, сказал:

— Привет.

У нее были светло-карие глаза и ямочки на щеках. И она точно была не там, а здесь, в палате номер тринадцать.

— Ты носишь очки? В моих снах ты был без них.

— Ношу, — сказал он смущенно. — Видишь ли, спать в очках неудобно.

— Плохое зрение?

Да, зрение было хуже некуда, самое время заду-

маться о лазерной коррекции…

— Минус пять диоптрий, если тебе это о чем-нибудь говорит.

— Тогда все понятно.

— Что понятно?

— Ты просто не рассмотрел, что я не летучая мышь, а бабочка. — Она застенчиво улыбнулась, погладила его по руке.

— Да, ты всегда была бабочкой, я просто не рассмотрел. — Возможно, впервые в жизни Егоров порадовался тому, что у него плохое зрение.

Ариадна Борисова
Змеев столб
(На правах рекламы, отрывок)

Глава 18
Горький мед

Они шли по сосновому лесу в рыбацкую деревню к северу от Паланги. До Паланги добирались на автобусе — Хаим решил провести здесь двухнедельный отпуск, подаренный ему на службе по случаю женитьбы. Решил единолично, Мария лишь кивнула в ответ — теперь она соглашалась на все, что бы он ни предлагал. Ты — муж, я — жена, поэтому повинуюсь — говорил этот смиренно-сухой кивок.

Она шла за Хаимом, в его рюкзаке лежали и ее вещи, она впервые несла их не сама. Шла и думала с горечью, как же ловко он сыграл на обстоятельствах ее безвыходного положения, обрушив на нее сообщение о женихе, ждущем в Вильно. Сердце трепыхалось от ужаса загнанной в клетку птицей, замужество почудилось единственной возможностью укрыться от Железнодорожника, иначе страшный человек достанет ее хоть из-под земли. Хаим воспользовался этим страхом, подговорил помочь фрау Клейнерц, сумел обаять даже отца Алексия и, вырвав у нее

согласие, договорился в муниципалитете оформить брак поскорее. Покупать фату и свадебный наряд Мария наотрез отказалась, взяла напрокат в салоне платье попроще. Там же ей уложили волосы и украсили прическу вощеной веточкой вышедшего из моды шелкового флердоранжа.

В ратуше Мария держалась прекрасно. Никто не заметил ее смятения, и лишь после того как в затаенной тишине прозвучало короткое «да», сказанное ее собственным голосом, она поняла, что путь назад отрезан. Бесстрастный регистратор объявил их мужем и женой. Хаим осторожно коснулся губ Марии теплыми губами, и тут она не сумела удержать предательских слез. Отец Алексий и другие гости, наверное, подумали — ох и впечатлительная же, оказывается, наша Маша! Ведь никто, кроме фрау Клейнерц, не подозревал, что этот поцелуй у пары первый. Восхищенная старушка даже всплакнула, деликатно сморкаясь в кружевной платочек.

Сейчас Мария жалела о случившемся. Надо было сразу же открыться священнику, послушать его совета, заручиться поддержкой и остаться в Клайпеде. А уже потом, выдержав срок помолвки, может…

— Смотри, лодки, — сказал Хаим.

Черные смоленые лодки казались издалека подсолнуховыми семечками, разбросанными на берегу. На белом фоне дюн четко вырисовывались высокоствольные сосны, чью золотую кровь вечность превращает в янтарь. На протянутых между столбами шестах сохли вязанные вручную сети. Очутись здесь тысячу лет назад, картина была бы та же — дюны, сосны, сети, лодки…

Где узнать, кто в деревушке сдает комнаты, как не в лавке? Незатейливая вывеска тотчас вынырнула над терновой изгородью. По углам стояли стянутые обручами деревянные бочки, удивительно напоминающие пышные груди в корсетах, в голубоватом табачном дыму мешались рыбные, дегтярные и керосиновые запахи. Пестрое галантерейно-продовольственное богатство прилавка теснила эмалированная лохань, полная серебряных слитков сельди в жирном ржавом рассоле. За лоханью, сложив калачом руки, восседал мощный старик с лихо закрученной цигаркой во рту.

— Во-он там, в конце улицы, кузнец обычно внаем сдает, — ответил лавочник на вопрос незанятым углом губ и вытянул коричневый палец в сторону распахнутого окна.

В благодарность за подсказку гости купили

жестяную баночку монпансье.

Уже вечерело, и в тени вдоль улицы красными светлячками мерцали огоньки тлеющих самокруток. На скамьях, лениво переговариваясь, покуривали старики. Светлые дома выглядывали из зеленой, еще не сорванной осенними ветрами пены жимолости и кизильника. Тут и там на крышах сараев в небрежных гнездах стояли приготовившиеся к отлету аисты. С гулким стуком падали перезрелые груши. Во дворах в последний раз перед сном неистово клекотали и дрались петухи. Деревня была живописная и маленькая, не больше десяти минут ходу до окраины.

Рядом с хозяйским домом, увитым стеблями плетистой розы, раскинулся ухоженный плодовый сад, роскошный для этих мест — ветки яблонь ломились от красно-желтых плодов, свисающих аж за ограду. Поодаль в отгороженном от усадьбы дворе возвышались стога сена и темнели постройки для скота.

Учуяв чужаков, цепная собака залилась яростным лаем и рванулась к калитке, но была остановлена властным окриком. Рослый беловолосый мужчина в брезентовом фартуке выслушал Хаима и позвал жену. Подошла женщина, под стать хозяину, высокая, крепкая, с загорелым лицом и

зеленоватыми кошачьими глазами.

Хозяева были в приличных годах. Звали их Иоганн и Констанция.

— На медовый месяц, — улыбнулась она, наметанным взглядом определив статус квартирантов. — Молодожены всегда у нас норовят снять. Подороже выйдет, зато не комната, а отдельный домик.

Бревенчатый домик стоял на задворках. Окна кухни с беленной известью печкой выходили на огород с начавшей жухнуть картофельной ботвой. Крохотная комната была насквозь пропитана густым яблочным духом. Блуждающий огонь свечи в хозяйкиной руке озарил открытую дверь смежного с кухней чулана, откуда в коридорчик вываливалась шафранная гора налитых спелостью яблок.

Словоохотливая Констанция пояснила:

— В саду анисовки остались, а эти как-нибудь в воскресенье на базар повезем. Вы берите отсюда, ешьте, сколько хотите, не стесняйтесь. Яблоки сочные, сладкие, истинный мед, будто нарочно для вас. Урожай нынче — девать некуда. А варенье, какое нравится, — вишневое, малиновое или из крыжовника — у меня же покупайте, я вкусно варю.

Из окон комнаты открывался чудесный вид на узкий сосновый перешеек и голубую в сумерках полосу дюн. За дюнами чернело море.

Мария зарделась до корней волос и благословила темноту, глянув на огромную кровать с высоким узорным изголовьем, накрытую вышитым льняным покрывалом. Этот железный супружеский корабль, видно, смастерил хозяин. В плетении металлических прутьев, крашенных белой эмалью, угадывались солнце и птицы. К левой от входа стене приткнулся плоский шкаф, в углу примостился вытянутый столик. Стулья в комнатку не втиснулись. Все пространство занимало широкое ложе, прямолинейное в своем брачном назначении и царствующее здесь полновластно.

— Матрацы шерстью набиты, плотные, без комков, — засмеялась востроглазая Констанция, ставя на стол канделябр со свечами, — а подушки пуховые, и белье я стелю глаженое.

Если бы хозяйка знала, что новобрачные еще не спали вместе, она бы сильно удивилась.

…После свадебного вечера, оставшись с Хаимом наедине в его квартире со смешным названием «Счастливый сад», Мария взяла с кровати подушку и ушла в кремовую гостиную.

Все, что случилось, было словно не с ней. С другой девушкой, а Мария лишь наблюдала со стороны. Эту девушку попеременно трясло от злости, от страха и покорности судьбе, глупой спешки и опоздания поступить по-иному. Девушка чувствовала себя жертвой чудовищной несправедливости, и даже если Хаим просто трогал ее за локоть, пытаясь привлечь к чему-нибудь внимание, демонстративно отстранялась.

Добрую жизнь не построишь на обесчещенной ложью дружбе… Мария чувствовала себя униженной. Из спальни донеслись стук упавшего предмета и тихое чертыханье — Хаим пробирался на кухню тушить пожирающее его пламя чашкой оставшегося со свадьбы морса. Мария мстительно решила: «Стану сопротивляться. По крайней мере не поддамся сразу… А после, когда муж мной пресытится (сколько времени будет продолжаться утоление его омерзительной страсти, она предпочитала не думать), я рожу дитя, подурнею, и наконец-то он от меня отстанет».

Заранее измученная годами будущей постылой жизни с Хаимом, она затаилась, ожидая его оклика, чтобы высказать вертевшуюся на языке дерзость, выставить в свою защиту ногти, зубы, каменную скованность тела и безмолвный плач.

Совершенно несчастная, лежала она, утопая в пышных чреслах кремового дивана и лелея уязвленную гордость, пока не уснула…

На следующий день ее удивил и разочаровал безмятежный вид Хаима. Веселый, как всегда, он шутил и смеялся. Он посмел вести себя так, словно ничего не произошло! Но ведь и впрямь ничего не произошло… Она поневоле оценила его целомудренную сдержанность. Их разговоры были невинны, только оба опускали ресницы, стараясь не встречаться взглядами.

Вторая ночь прошла так же спокойно. И вот стремительно надвинулась третья — на одной постели, чреватая болью и раной, не излечимой уже никогда…

Мария в бешенстве подумала, что изобретательный Хаим нарочно, ради мерзких завоевательных целей наметил маленькое путешествие в Палангу, где она ни разу не была, хотя от Клайпеды нет и тридцати километров. Может, заранее условился с хозяевами, и они ломают перед нею комедию! С него станется… Она не верила ни одному его слову.

Хаим стоял, привалившись к дверному косяку.

— Если хочешь, я пойду спать в кухню.

Мария с боевой готовностью откликнулась:

— Если я и хочу чего-то, то вычеркнуть тебя из жизни.

Да, сейчас ей хотелось именно этого. Вычеркнуть Хаима, Железнодорожника, любого мужчину из своей жизни.

Ситуация не поменялась, поменялись роли: теперь Хаим взял подушку, и вдруг у него вырвалось:

— Зря ты боишься, я не собираюсь применять силу. Хотя, моя б воля, любил бы тебя все ночи, до утра не выпускал бы из рук…

— А «без рук» — не любишь?

— Люблю, но…

— Но?

Он не ответил.

— Ложись, — сказала она, подвигаясь к самому краю. — Попробую поверить.

Слыша хрипотцу в его дыхании, Мария думала о том же, что и Хаим, и ужасалась монашеской абсурдности своего поведения. Сейчас он придвинется и… снова обманет ее. Она ждала. Пять минут, десять, полчаса… Почти так же, как на судне во время операции. А ничего не происходило — ни осады разговором, ни проверки ногтей на остроту. В кровати пролегла нейтральная полоса, с луженым терпением на одной стороне

и гневом, взращенным обидой, с другой.

Время вытягивалось вперед дразнящим языком, корабельным канатом над бездонной пропастью, влеклось дальше, обманчивое, как сон, и становилось сном, повторенным наваждением без начал и концов. Мария мертвела от мысли, что с нею это уже было, и, теряя прежнюю память, шла по призрачному саду. Мелькали стволы деревьев, с корой цвета красной бронзы, но упругой и шелковистой. Прохладная трава ласкала ступни, влажные бутоны плетистых роз прикасались к обнаженному телу.

Мария шла к тому, кто ждал впереди на поляне, и, когда он двинулся навстречу с круглым огнем в ладони, она почуяла оглушительный запах яблок, распирающих смежный с кухней чулан… Удивилась во сне: что за бред, какой еще чулан в лесу?..

От густоты яблочного аромата кружилась голова. В уши внезапно ударил восторженный голосок фрау Клейнерц, те слова, что старушка говорила перед картиной Дюрера: «Ах, фрейлейн Мария, вы не представляете, как вам повезло встретить своего мужчину! Вы — Ева, созданная для него…»

…Человек, мужчина, очутился близко. Она по-

чувствовала, как соски приподнимаются двумя спелыми утренними ягодами. Мужчина тихо засмеялся, наклонился над нею, держа в зубах маленькое солнце, и она откусила.

Они откусывали медовое солнце, каждый свою сторону, пока их губы не сошлись в начало начал и конец концов, замыкая круг сна и смысла.

Глава 19
Настоящий друг… Ненастоящий муж

Мария проснулась, безуспешно пытаясь унять дыхание, половину которого мужчина унес в грезы с обморочным поцелуем. Скорчилась под одеялом в стыдливый комок: от благоухания чуланных яблок мысли мешались в голове, живот с силой тянуло книзу, и — о-о, издевательская проза жизни! — нестерпимо хотелось в туалет. Она украдкой окинула комнату быстрым взглядом.

— Привет, — сказал Хаим буднично и безлико, появляясь из кухни в клетчатой рубашке и бриджах. — Я хочу поплавать. Пойдешь со мной? Но тебе купаться не советую, вода сейчас уже очень холодная, мышцы сведет.

— Захочу и искупаюсь, — пробормотала Мария и вспомнила, что у нее нет купального костюма.

— Дело хозяйское, — пожал он плечом.

— Отвернись, мне надо выйти! — вскрикнула она, не в силах больше терпеть. Хаим замешкался, и Мария выбежала в сорочке на улицу, едва не сметя его по пути.

Когда ее лицо конфузливо высунулось из-за

двери, он весело передразнил:

— «Отвернись, мне надо войти!»

— Я уйду от тебя, Хаим Готлиб, — отозвалась она, прошмыгнув к шкафу.

Он повернулся, навис над нею, упершись о шкаф руками, с белым от запальной злости лицом:

— Никогда не говори так, слышишь?! Никогда!

Мария без всякой боязни, с каким-то девчоночьим любопытством глянула снизу вверх:

— Бить будешь?

— Нет, — прохрипел он. — Если ты уйдешь — я не буду жить.

Она все-таки испугалась, выскользнула из-под его рук. Уронив стиснутые кулаки, Хаим опомнился.

— Вот, посмотри, может, понравится, — мрачно кивнул на кровать.

Увлеченная выяснением отношений, Мария не заметила, что на кровати, уже застеленной, разложена кое-какая одежда: белый, в фиалках, сарафан из набивного ситца и шелковый купальный костюм. Тот самый раздельный итальянский купальник, который она видела в любекском магазине — непристойно узкий, телесного цвета!

— Ах вот что ты там покупал! — воскликнула

Мария.

— Где? — Хаим наконец улыбнулся.

— В Любеке! А лгал, что покупаешь подарок сестре!

— Я не лгал. Саре я тоже купил купальник… Ну же, одевайся! В море плавать не дам, а загорать — сколько угодно.

— Тогда никуда не пойду.

Он вздохнул:

— Как хочешь.

Мария в сердцах с размаху бухнулась на кровать, бело-розовую в рассветных лучах, как невеста… Хорошенькая перспектива — задыхаться целый день одной в этом яблочном раю! Пусть дружеские отношения с Хаимом — мираж, зато ей с ним не скучно.

— Я пойду с тобой.

— Иди.

— А купальник куда-нибудь спрячь. Я не желаю видеть этот ужас.

— Напрасно. «Этот ужас», очень даже симпатичный на мой взгляд, придумали в знаменитом Доме моды Скьяпарелли. Кстати, Грета Гарбо начинала карьеру с демонстрации купальников…

Хаим еле успел отпрянуть: Мария прыгнула, как кошка, и полоснула воздух ногтями перед

его лицом.

— Не смей! Меня! С ней! Сравнивать!!!

— Сдаюсь, сдаюсь, — засмеялся он, поднимая руки. — Я давно хотел сказать: не ты похожа на Гарбо, а совсем наоборот — она на тебя похожа. Чуть-чуть. Но ты в миллион раз лучше… Ты — моя королева. Только ты.

Мария шла за ним босиком след в след и не узнавала себя.

Отчего она так сильно изменилась? Она, которая боялась мужчин пуще огня, почему-то становилась с Хаимом капризной и взбалмошной, какой не была ни с кем, мгновенно переходила от ликования к гневу.

А если Хаиму надоест возиться с нею? Если он ее бросит?.. Мария размышляла об этом с незнакомым страхом, не в силах разобраться в мыслях и ощущениях. «Пусть бросит, пусть, пусть, пусть бросит», — со скорбным упрямством думала в такт шагам.

Холодное дыхание моря чувствовалось издалека. Море ни секунды не оставалось без движения: рябило, мерцало, выкидывало в бесконечном канкане мириады сверкающих коленок. Язык прибоя облизывал берег в тщетных усилиях добраться до лодок, и ползучая шея в пенном жабо

с шипением втягивалась в море перед новой попыткой.

Ветер делал сразу несколько дел: надувал и закручивал пышную юбку Марии, пел протяжные песни, срывал с волн жемчужную россыпь пены, смешивал запахи йода и соли с ароматом сосновой смолы. А еще ветер носил птиц. Чайки недовольно кричали, чуя запах рыбы. Впрочем, им грех было жаловаться, недавний шторм выкинул на мелководье кучи водорослей, и там, где растения запутались в камнях маленьких бухт, чайки справляли торопливые пиры. Мягкое травяное варево кишело моллюсками.

— Ну что, будешь купаться? — поинтересовался Хаим, раздеваясь.

— Буду.

— Неужто нагишом?

Хулиганская ухмылка причудилась Марии в углах его губ. Она впервые заметила, как хорошо Хаим сложен. Не атлет, но хорошо. Причем она где-то видела эту фигуру раньше: прямые мускулистые плечи, широкую грудь, крепкий живот с пупочной денежкой.

Где же она могла видеть раздетого Хаима? В лазарете он был накрыт простыней. Во сне? Кажется, да… И вспомнила: Адам! Адам Дюрера.

Обнаружила, что Хаим и лицом немного смахивает на него. Представила картину целиком и вдруг поняла: а ведь у нее, пожалуй, фигура дюреровской Евы…

Лодыжки мазнул хвост ледяной змеи.

— Платье испортишь, — предупредил Хаим. — Здесь море не сильно соленое, Неман впадает, но одежду сумеет подкрахмалить.

Мария строптиво забрела в воду по икры и выскочила обратно. Бр-р, как холодно! Подумала: остались бы они друзьями. Для окружающих муж и жена, а на деле просто…

Нет. «Ты — моя королева. Только ты».

— Не надо заходить в море, Хаим, заболеешь, — попросила «прежним» голосом.

— Разве тебе не все равно?

— Не все… Ведь ты — мой король.

Он сбегал к дому, принес завернутые в лист лопуха гренки, жаренные с чесноком и сыром, бутыль молока и проволочный сачок на шесте для сбора янтаря. Позавтракали, нашли лодку Иоганна — хозяин позволил взять — и поплыли к подводным бухтам процеживать сеткой травяной кисель.

Хаим ловко отыскивал янтарные окатыши в гуще водорослей, а Марии не удавалось — на ее

взгляд, они ничем не отличались от обычной гальки.

— Сверху на них окисный панцирь, — объяснял он. На ладони покоились три камешка, ровесники детства Земли и юности моря, облаченные в матовые «рубашки».

— В Древней Руси янтарь называли «бел-горюч камень алатырь»…

— Потому, что он горит, это же смола первобытного леса.

…Иногда, если прибой выбрасывал траву к берегу, искатели обнаруживали «морские самоцветы» у пенной кружевной кромки. Бродили по влажным песчаным поймам, по дюнам и медно-зеленым сосновым перелескам. Тут же обедали из одного котелка, заедая ржаным хлебом и вареным картофелем приготовленную Констанцией окрошку на густой простокваше из свеклы, огурцов и яиц, щедро присыпанную укропом.

Последние дни августа стояли погожие, с белым солнцем над безмятежными белыми песками. Потрясающий закат полыхал здесь прямо над морем и гас, сжигая за собой горизонт. Опускались сумерки цвета вечерних волн.

Помолившись перед сном, напряженная от макушки до кончиков пальцев ног, Мария про-

скальзывала в постель. Она ни на секунду не забывала о том, что, может быть, случится ночью. Вспоминала каждое прикосновение его рук за день, особый прищур глаз, улыбку, смех и слова… засыпала.

Утром притворялась спящей. Лежала зреющей в теплом коконе бабочкой — Хаим тихонько подтыкал одеяло. Сквозь ресницы следила за тем, как он одевается в полумраке, ходит по домику без шлепанцев, чтобы меньше шуметь.

Мария забавлялась этой утренней игрой. Испытывая короткие приступы счастья, все еще пугливо и трудно продиралась сквозь заросли девичьих страхов и детских обид. Но чувствовала она себя спокойно и надежно. Друг, взявшийся растопить ее сердце нежным терпением, был рядом.